Воспоминания полтавчанина
Розенфельда Ильи Александровича
о довоенной и послевоенной Полтаве
(1932 – 1944 годы)

В зеркале памяти. Часть 1. На берегах реки детства (Полтава: до 1939 г.)

Полтава моего детства - городок маленький, тихий, очень зеленый и живет в нем всего девяносто тысяч человек или даже меньше. Это совсем немного. В Москве и Ленинграде жителей три миллиона. И даже в Харькове - это близко от нас, всего четыре часа езды поездом, - триста тысяч.

В нашем городе много парков, скверов и бульваров, есть замечательный **Городской сад** (*парк «Победы»)* с концертной эстрадой, есть круглый **Березовый скверик** и **Петровский парк**, есть **Корпусный сад**, а вдоль улиц растут каштаны, тополи, акации и дикие маслины. Одна из них свисает прямо на балкон дома, в котором мы живем.

Мы - это я, мама, папа, мой кот Матрос, мопс Мальва и щегол Арик - все мы живем на втором этаже старого двухэтажного дома № 44/46, что стоит на улице Комсомольской, которую по старой памяти многие еще часто называют Сретенской.

Говорят, что в незапамятные времена она называлась Красной улицей, а Сретенской назвали её позже, когда протянули до **Сретенской церкви,** построенной в 1787 году. К нашему дому примыкает угрюмый угловой дом с большими окнами, забранными металлическими решетками, - это кондитерская фабрика. Когда-то, очень много лет назад на этом месте, по слухам, стояло деревянное здание городского театра, в котором играл великий русский актер Щепкин. То здание сгорело и на его месте построили этот каменный дом.

Начало своё наша Комсомольская берет далеко внизу, от улицы Карла Либкнехта (*раньше - 1-й Кабыщанской*). Но и по сей день вся та часть города так и называется - Кабыщаны. От нас это не очень далеко, но ходить туда детям строго-настрого запрещено. Там, говорят, обитают отъявленные хулиганы, воры, нищие, наши городские сумасшедшие - «мадам Гопманша», «Борька-сумасшедший»,

«Янкель-перец» и прочие подозрительные личности. Где-то там стоит дом, в котором жил Симон Петлюра. Рассказывают, что до сих пор кто-то ежедневно на стенах этого дома мелом или краской об этом сообщает, надпись стирают, а к утру она появляется снова. С Кабыщанами связана еще одна жутковатая страница городской жизни - это уходящая вглубь времён, неискоренимая и необъяснимая кровавая вражда «кабыщанских» и «городских». Время от времени на окраине города - на крутом откосе Институтской Рощи сходятся парни и подростки, вооруженные финками, кастетами, ножами и прочими видами самодельного холодного оружия. С гиканьем и воплями они сближаются, и начинается дикое побоище. В такие дни уже с самого утра мимо нашего дома к месту будущего сражения движутся возбужденные и галдящие толпы парней с палками в руках, а мы, пацаны, с замиранием сердца провожаем их до угла Шевченковской и желаем им победы - ведь мы тоже «городские»…

Еще не снесена стоящая на пересечении нашей Комсомольской с главной улицей города **Октябрьской** старинная Сретенская церковь. А в другом ее конце, вблизи улицы Короленко (*бывшая Малая Садовая улица*), еще цел и ежедневно служит Католический Костел - строгое белое здание с окнами-витражами, и иногда на улице можно услышать торжественные звуки органа. Отсюда начинается спуск на Кабыщаны. Весной, когда бурно тает снег, или в дождливые осенние дни по проложенным вдоль тротуаров канавам на Кабыщаны устремляются бурлящие коричневые потоки, в них несутся щепки, бумажки, тряпье и всякий хлам, иногда потоки выплескиваются на проезжую часть и затапливают булыжную мостовую. В такие дни перейти нашу улицу непросто. Внизу шумящие потоки вливаются в бегущую в зарослях бурьяна тихую узенькую речушку, скорее ручей, через который переброшен зыбкий бревенчатый настил. В такие дни неказистая и робкая речушка гневно взбухает, выходит из берегов, шумит, злобно топит бревенчатый настил и на короткое время становится похожа на настоящую реку.

Впрочем, у нас есть и настоящая река - Ворскла. Она не очень широкая, песчаные берега густо заросли осокой и кустарником. Но она далеко от нас, на Подоле у Южного вокзала, и без взрослых детей туда не пускают.

В летние дни по городским улицам бродят старики-шарманщики, на спине у них висит на ремнях оклеенный яркими картинками ящик с ручкой, а на плече в клетке мается тоской попугай или (реже) обезьянка. Шарманщики входят во двор, устанавливают ящик на ножку-опору и крутят длинную, похожую на автомобильную, ручку. И двор наполняется пронзительно-фальшивыми звуками некогда модных песенок, вроде «Маруся отравилась», «На заводике, на кирпичике» или вальса «Амурские волны». Рядом на земле лежит шапка или тарелка, в которую нужно бросить монетку. Попугай кривым клювом вытягивает из баночки свернутый в трубочку бумажный фунтик с предсказаниями твоей судьбы. А грустная обезьянка безнадежно смотрит из клетки человеческими глазками-бусинками, и если поднести ей сухарик или конфетку, ловко протягивает через прутья клетки худую ручку с

длинными коричневыми пальчиками и узкими черными ноготками, цепко хватает подарок и тут же его грызет.

Время от времени на нашей улице появляется неторопливый ассенизационный обоз - это едут золотари или, попросту, «говновозы». Обычно обоз состоит из трех-четырех горизонтально лежащих длинных деревянных бочек на колесах, запряженных тощими лошадками, вдоль бочек покачиваются длинные шесты с черпалкой на конце. Впереди на высоком сидении с равнодушным видом и меланхолическим выражением на лицах покорности судьбе восседают золотари.

Информация о приближающемся обозе сообщается нам из соседних дворов, оттуда несется громкий клич: «говновозы едут!» - и мы бросаемся врассыпную. Дворник Филипп отпирает замок и распахивает железные створки ворот, обоз неспешно сворачивает в нашу подворотню и располагается на заросшей травой площадке, где в углу между сараями зажата дворовая уборная. Золотари надевают большие, до локтей, рукавицы, открывают на бочках крышки, берут длинные черпалки и умело принимаются за дело.

Все выходящие во двор окна нашего дома и окна дворового флигеля мгновенно захлопываются. Проходит час. Крышки на бочках уже закрыты, золотари усаживаются на свои сиденья, и обоз так же неторопливо покидает наш двор, еще надолго оставляя после себя густые ароматы. Выйти можно лишь часа через три-четыре - когда подсохнет неизбежно орошенная золоторями трава и ветерок разгонит стойкие благовония.

Городские мостовые у нас вымощены неровным округлым булыжником, а на тротуарах лежат квадратные серые плиты. Плиты старые, треснувшие и истёртые, во многих местах они просели, сломались или перекосились, из щелей между ними лезет трава и бурьян. Но такие тротуары только в центре города. И лишь на главной улице - Октябрьской - тротуары асфальтированные. Но там они совсем недавно, и иногда мы бегаем смотреть, как это делается. Под большими круглыми чанами пылает багровый огонь, оттуда пышет удушливым дымным жаром, и рабочие, перекрикиваясь, варят в них асфальт.

Стоя в отдалении, мы с восторгом вдыхаем этот прекрасный запах и смотрим, как они черпалками извлекают из чанов, выливают на землю и тут же раскатывают железными катками дымящуюся и быстро твердеющую густую черную массу. Лишь в середине тридцатых с проезжей части Октябрьской уберут булыжник и замостят брусчаткой. Она вечна и лежит до сих пор.

Но всё это только в центре города. А подальше нет ни асфальта, ни плит, тротуары там устроены из уложенных вплотную одна к другой трех-четырех толстых досок. Доски прогибаются и пружинят под ногами прохожих. Но и они не всюду. На Кабыщанах, на Панянке, за базаром, на **Юрово-Некрасовке** (*современная Юровка*) и на других городских окраинах нет и таких тротуаров, и в осеннюю непогоду или весеннюю распутицу там не пройти - не проехать.

Но зато у нас два вокзала: Южный (он внизу, на Подоле) и Киевский. Расположены они в разных концах города. Это наша гордость. Ведь даже в Харькове вокзал всего один. Правда, чтобы до них доехать или приехавшему в город пассажиру попасть в центр, нужно нанять извозчика. Поэтому извозчиков у нас много.

Полтава. Всесвятская церковь. Новый базар.

В ожидании седоков они рядами стоят на небольшой площади у театра на улице Гоголевской, у базара и на обоих вокзалах. К мордам лошадей подвешены торбы, они все время что-то жуют. Там приятно пахнет сеном, свежим навозом и теплым лошадиным потом, а извозчики терпеливо, в ожидании седоков стоят рядом, дымят махорочными скрутками и о чем-то озабоченно судачат.

Впрочем, иногда - это уже середина тридцатых - на наших улицах можно увидеть чудо техники: это автобус, единственная в городе нелепая колымага красного цвета, которая время от времени медленно переползает от вокзала к вокзалу. Автобус очень длинный и похож на гусеницу, он громко пыхтит, стреляет фиолетовым дымом и при этом весь трясется, из-за чего в городе его так и называют - «трясучка».

Папа утверждает, что это дореволюционный «Форд-мобил», невесть как попавший в Полтаву.

Ходит этот «Форд-мобил» когда хочет, без всякого расписания, и никто не знает, ждать ли его на остановке и приедет ли он вообще. Но и это возможно только летом, и притом в сухую погоду. После дождя, а зимой в гололёд это трясущееся чудо взобраться в город с Южного вокзала по скользкому булыжному подъему не может.

В городе у нас много памятников. В самом центре, в круглом Корпусном саду стоит главный: на высоком уступчатом пьедестале из красно-бурого полированного гранита высится мощная чугунная колонна - это памятник славы русского оружия, воздвигнутый в 1811 году в честь победы над шведами 27 июня 1709 года. На этом месте, как утверждают историки, происходила встреча защитников крепости с Петром Первым. Колонну венчает золотой орел, в клюве он держит золотой венец, а внизу из гранитного постамента грозно торчат подлинные орудийные стволы той битвы.

Корпусный сад по кругу обегает широкая улица, на которой стоят 2-3-этажные белые ампирные здания с колоннами под треугольными фронтонами. Вблизи Корпусного сада во всегда сумрачном скверике у старого здания пединститута высится строгая готическая стрела **лютеранской кирхи** с бурыми кирпичным стенами, похожая на остро заточенный карандаш, увенчанная коническим куполом с высоким крестом.

А на коротких тенистых бульварах, тянущихся вдоль улиц **Гоголя** и **Котляревского**, стоят памятники: на первом - укутавшемуся в плащ, сидящему печальному Гоголю, на втором - парадный бюст Котляревского на изящном полированном гранитном постаменте с бронзовыми барельефами из «Энеиды».

На **Панянке**, откуда, как говорят, Петр Первый, наблюдал в подзорную трубу за ходом сражения со шведами в июне 1709 года, - там тоже стоит **памятник** и вблизи его - маленькая **Спасская церковь** (это уцелевшие остатки прежней, построенной в 1706 году), в которой после битвы царь будто бы отслужил благодарственный молебен. И еще неподалеку, в центре небольшой площади, образованной радиально сбегающимися улицами, стоит памятник с бронзовым львом **коменданту Полтавы дней битвы со шведами полковнику В. Келину**.

Еще у нас есть **памятник Тарасу Шевченко** из серого гранита работы известного скульптора Кавалеридзе, и есть **Белая Беседка** - круглая ротонда-подковка, образованная белыми колоннами, она венчает холм над Подолом; есть наш нарядный, как праздничный торт, **Краеведческий музей**, построенный по проекту архитектора Кричевского, с высокой крышей под глянцевой, ярко сверкающей на солнце, многоцветной черепицей, а далеко за городом находится главный **музей Полтавской битвы** - «Шведская Могила». Он сооружен у самого поля сражения со шведами, на котором еще сохранились кое-какие фортификационные сооружения битвы и обелиски на местах русских редутов, реданы, защитные валы и траверсы. Там стоит памятник Петру Первому, рядом с ним братская могила русских воинов с большим каменным крестом, тут же **Сампсониевская церковь**, а немного подальше - памятник павшим шведам от шведов. Но это очень далеко, и был я там всего один раз.

Но ближе всего к моему дому улица Пушкинская (*современная ул. Пушкина*) - я её очень люблю. На ней расположена моя 10-я школа и живут мои многие школьные друзья и товарищи, вблизи расположен наш небольшой, но уютный **Городской театр** с обитыми красным бархатом креслами партера, ложами бенуара, круговым балконом и галеркой. Рядом с ним стоит угловое красно-кирпичное здание **Городской библиотеки** и напротив нее маленький двухэтажный белый домик - это бывшая «столовая Тепловой» - так её называют у нас дома.

Летними вечерами в Городском саду (*парк «Победа»)* на эстраде-раковине играет симфонический оркестр, там встречается городская интеллигенция - врачи, адвокаты, инженеры, преподаватели институтов, учителя школ, студенты.

Но таков наш город только до 1932-1934 годов. Потом всё и навсегда меняется.

Совсем недавно нам провели радио, и сверкающие никелированные наушники, соединенные черной лакированной дужкой, лежат на диване и хрипят искаженными человеческими голосами. Моя няня радио побаивается и верит, что в наушниках сидит нечистая сила. Крестясь и недовольно что-то бормоча, она с опаской обходит диван с шумящими наушниками и старается не подпускать к ним и меня, когда родителей нет дома. А я радио не боюсь.

И даже когда никто не видит, тихонько отвинчиваю с наушника никелированное кольцо: под ним лежит плотно притянутая магнитом круглая тонкая серебристая пластинка, и если её с усилием приподнять, то обнаруживаются какие-то цветные проводочки и крохотная катушечка с намотанными на неё тоненькими проволочками. Если прикоснуться пальцами к их кончикам, кажется, будто кто-то или что-то играет с тобою, легонько щиплет кожу, смешно щекочет. Это ток. Но никакой нечистой силы в наушнике я не обнаруживаю. И пока не возвращаю пластинку и кольцо на их места, наушник молчит.

Но вообще с нечистой силой у меня отношения непростые. Я знаю, что никакой нечистой силы нет, всё это сказки. И всё же в глубине души полной уверенности в этом у меня нет. А вдруг?.. Рассказы няни про вурдалаков, мертвецов и нечистую силу соединяются во что-то мистическое, жуткое и тревожно-волнующее. И мне снятся странно-жуткие сны. Утром я рассказываю их няне. Она меня успокаивают, и мы отправляемся в церковь.

Церковь Сретения Господня стоит на пересечении нашей Комсомольской с главной улицей -Октябрьской. Солнце освещает её белоснежные стены, блестит золотой купол с высоким крестом. Широкая двойная дверь распахнута настежь, в глубине полумрак и перемещаются желтые огоньки, слышны невнятные гудящие голоса. Всё торжественно и чуть-чуть страшно.

Но самое главное - колокольный звон. Он несется с высоты, с колокольни, он заполняет всё окружающее пространство. Голоса колоколов сливаются и кажется, будто гудит и звенит всё небо. В густом медном гуле слышна быстрая перекличка звонких голосов маленьких колоколов, время от времени в их разговор вмешиваются тяжелые, медленно тающие торжественные удары больших. Мы с няней стоим на углу. Няня крестится и при этом что-то шепчет. Крестятся все стоящие рядом, крестятся прохожие. Глядя на них, крещусь и я.

Потом мы неторопливо идем домой, и няня покупает мне прозрачный красный леденец-петушок на деревянной палочке.

Иногда вечерами к нам приходят знакомые. Все сидят за столом, пьют чай и громко разговаривают, иногда о чем-то спорят. Их разговоров я не понимаю, мне неинтересно, и я ухожу в другую комнату. Там у меня есть альбом для рисования, цветные карандаши и краски, а также «Жизнь животных» Брэма - два толстых и очень тяжелых тома. Рассматривать их я могу без конца.

Чаще других к нам захаживает наш сосед Иван Иванович Писаревский, дядя Ваня. Живет он в небольшом двухэтажном доме, который стоит на нашей улице почти

напротив нашего. У дяди Вани маленький балкон, на котором летом по утрам он делает зарядку и приседает на одной левой ноге, держась рукой за перила. У него седые усы, громкий голос и самое главное - деревянная правая нога, которую, садясь, он выставляет вперед. А я, затаив дыхание, тайком её рассматриваю, убеждаясь, что сделана она из простого дерева, вся в мелких царапинках и трещинках и подбита снизу куском кожи. Дядя Ваня герой гражданской войны, на праздники он вдевает в лацкан пиджака красный бант и приколотый к нему орден Боевого Красного Знамени. Дядя Ваня преподает украинский язык и литературу в педагогическом институте.

С папой они на «ты», при встрече обнимаются и добродушно похлопывают друг друга по спине. Иногда они спорят и громко что-то друг другу доказывают, оба становятся красными и сердитыми. Часто в их разговорах мелькает слово «скептик», которым обзывает папу дядя Ваня. Смысла этого слова я не понимаю, но мне кажется, что это что-то хищное, острое и похожее на кинжал. Дядя Ваня живет один, ни жены, ни детей у него нет, иногда он сажает меня на колени, что-то рассказывает, шутит или читает на память смешные украинские басни Глебова и при этом сам громко хохочет.

Иногда зимними вечерами, когда на улице холод, мороз или метёт метель, в доме не очень тепло - на градуснике всего + 16 -17 С, - мы сидим за столом и пьем чай. Папа что-то читает, а я сижу возле мамы или стою у угловой кафельной печи, которая хоть и очень горячая, но обогреть наши большие комнаты не может. Эта печь - яблоко раздора между мамой и папой. Она широкая, высокая, в красивых светлых изразцах, и выходит углами в обе комнаты.

Но всё дело в том, что в первой - большой - комнате находится очень красивый камин. Он обрамлен коричневыми изразцами, в центре железные створки, а над ним по всей ширине печи тянется полка, на которой стоят фарфоровые каминные часы с какими-то ангелочками. Часы эти не ходят, но зато очень красивые. Тепла камин дает мало - так говорят взрослые, и поэтому (на моей памяти) им никогда не пользовались. А печь перестроена, и дверцы топки устроены со стороны коридора. Топят её углем и дровами, но греющая поверхность только та, что над камином. Мама хочет заложить камин и вместо него сделать кафель по всей высоте печи, до самого низа. А папа этого не хочет, ему жаль лишаться камина. Пока они спорят и сердятся, зима проходит и споры утихают. А летом в камине живет и спит собака - наш мопс Мальва. Ей там нравится.

С Мальвой я в хороших отношениях, но дружбы у нас нет. У нас вежливое сосуществование. В истинных друзьях у меня кот Матрос. Мальва его игнорирует - просто не замечает. И, возможно, даже побаивается. Матрос за себя всегда постоит и соседним собакам спуску не дает. Но у него есть больное место - это мой щегол Арик.

Клетка Арика висит в большой комнате, дверца распахнута и Арик летает по комнате или сидит на карнизе, а потом сам влетает в клетку, где стоит блюдце с водой и насыпаны семена - это моя забота. Арик поёт, щебечет, щелкает семена и сверху искоса вопросительно поглядывает на меня черной бусинкой глаза, затем решается, несмело садится мне на ладонь и торопливо клюет крошки.

А Матрос горящими зелеными глазами жадно смотрит на Арика, угрожающе утробно гудит и раздраженно бьет прямым, как палка, твердым хвостом, а иногда даже стремительно вспрыгиваетает на пианино, с него на шкаф, становится на задние лапы и жадно тянет их вверх. Арик очень спокойно перелетает в другое место под потолком, и Матрос, ворча, не солоно хлебавши убирается восвояси.

Иногда я вывожу Мальву гулять. Но это небезопасно, хотя она на подводке. Дело в том, что в квартире под нами у соседей Куниных живут два фокстерьера - старый тощий и злющий Рэмка на тонких кривых лапах и его трусливый жирный сын Бонька. Мальва их ненавидит. Если все собаки одновременно оказываются на улице, драки не миновать. Мальву на поводке мне не удержать, а разобрать дерущийся рычащий и визжащий комок не могут даже взрослые. Но Мальва хоть и невысокая, но жилистая и сильная, она храбрая и побеждает обычно она, и фокстерьеры с пронзительным визгом, поджав обрубки хвостов, позорно удирают. И потом Кунины приходят к моим родителям объясняться.

Правда, во дворе у нас есть общая собачка - это приблудный белый щенок Бутька, помесь шпица с кем-то. Мы его кормим, соорудили ему будку в углу двора, и нас он обожает, как и мы его. Мальва его не трогает и даже позволяет себя обнюхивать. Пока Бутька, восторженно виляя хвостиком её нюхает, Мальва с ленивым и снисходительным видом терпеливо ждет. Если тебе это нравится, говорит весь её вид, нюхай, мне не жалко. Потом Мальве это надоедает, она рявкает, огрызается и убегает.

Папа человек увлекающийся. Он неожиданно может приобрести совершенно ненужную вещь, уплатив за неё немалые деньги (с которыми всегда туго), восхищается ею, а вскоре остывает и о ней забывает. И порой я нахожу в чулане странные и бесполезные вещи - например, выдвижную, очень тяжелую старинную подзорную трубу с потемневшим красно-коричневым медным корпусом, но без стекла, музыкальную шкатулку со сломанным заводом и даже самый настоящий граммофон с огромной трубой. Труба мне нравится, она гофрированная и блестит, как серебряная, но очень тяжелая, немного сдвинуть и трубить в неё я могу, только находясь в чулане, - вынести оттуда её я не могу.

Звук, вернее, рёв, получается при этом дикий, громоподобный и ни на что не похожий, особенно, в замкнутом помещении чулана. Но однажды из-за этой трубы происходит неприятность - наша соседка, больная старуха Ильевская, проходя мимо чулана, услышала этот дикий рёв и с испугу упала в обморок. Её привели в чувство, но вскоре граммофон с трубой из чулана исчезли.

Вероятно, тогда же приобретены и эти замечательные каминные часы, которые не ходят и, похоже, никогда и не ходили. По секрету от всех иногда я их разбираю и потом снова собираю, а остающиеся после моей деятельности лишние колесики просто бросаю в круглое заднее окошко в корпусе.

Там же на полке пылится подвесная, на витых цветных шнурах пятилинейная керосиновая лампа с большим, как мексиканское сомбреро, абажуром-отражателем. У

неё круглый стеклянный шар-баллон для керосина в металлической оправе и над ним круглая горелка с фитилями под стеклом-насадкой. На лампу давно никто не обращает внимания, и она тихо ржавеет, пока не приходит её время - об этом немного дальше.

Но вот уже 1930-й год и в августе мне исполнится восемь лет. Осенью я пойду в первую группу - так теперь называются прежние школьные классы. Этого дня я жду с нетерпением, но и чуть-чуть с легким страхом.

О школе я знаю лишь то, что там у меня будет строгая учительница, и сидеть я буду за партой. Что такое парта, я тоже уже знаю: у моей старшей двоюродной сестры Ани - она уже в третьем классе - дома стоит низенькая черная парта с двумя откидными крышками и ящиком под ними для книг и тетрадей. Домашние уроки Аня делает за этой партой. Иногда мне разрешают за этой партой посидеть, но трогать на ней ничего нельзя.

…Но всё это еще в их старой квартире, на втором этаже трехэтажного дома, что (и по сей день) стоит на улице Кобелякской. У них три красивые комнаты, в одной из них, поменьше, кабинет дяди Гриши, папы Ани. Входить туда без разрешения нельзя. Там стоят большой письменный стол, у стен книжные шкафы, а сбоку диван и рояль с всегда открытой крышкой клавиатуры. А в первой, большой, комнате столовая. Но самое интересное здесь - живой зеленый попугай, он сидит в висящей на стене клетке и круглым глазом смотрит на людей как-то искоса и гневно. Ему говорят:

- Попка дурак!

А он раздраженно прыгает и хрипло выкрикивает:

- Сам!!! Дур-ррр-рак!!!

Дядя Гриша большой и какой-то нескладный, с длинным лошадиным лицом, седым ежиком и бакенбардами на худых обвислых щеках. У него круглые очки, неслыханно огромные, как у слона, отвислые уши и добрая улыбка. Когда мы к ним приходим, он с моей мамой разговаривает по-французски. Мама отвечает ему медленно и с запинками, а дядя Гриша её поправляет. Папа с дядей Гришей дружит, но относится к нему с легкой иронией. Дядя Гриша человек из другого мира. Или, как говорит папа, «не от мира сего».

Он родился и вырос в богатой и высокообразованной харьковской семье, повидал мир - в молодости побывал в Париже, Вене и Берлине, учился за границей. В годы революции его семья эмигрировала во Францию и Швейцарию. А дядя Гриша влюбился в мою тетю, красавицу Веру, и остался. В начале 1919 года у них родилась Аня, и уезжать стало поздно. К советской власти дядя Гриша так и не приспособился. И власть его тоже не приняла.

Но сейчас только 1930-й год, дядя Гриша еще советский служащий и где-то работает. Когда мы у них в гостях, он собирает детей в кабинете и рассказывает разные страшные или какие-то удивительные истории.

Несмотря на строжайшие запреты, каждой зимой Ане ставят ёлку. Тайком её привозят из какого-то ближнего села. На ёлке горят свечки, висят подарки, мандарины, хлопушки, бумажные гирлянды из цветной бумаги и разные игрушки,

брызжут искрами бенгальские огни. Кто-то в кабинете играет на рояле, а мы, взявшись за руки, кружимся вокруг ёлки, кричим и поём.

Но осенью этого же года дядю Гришу арестовывают, квартиру на Кобелякской (*современная ул. Фрунзе*) отнимают, конфискуют рояль, ковры и картины, а тетю Веру с Аней переселяют на глухую и темную улицу Каменную (*современная ул. Леваневского*).

Дядя Гриша сидит в тюрьме, и ему туда носят передачи. Он осужден на полтора года. Все волнуются, так как у него воспаление легких и его уложили в тюремную больницу. Вина его в том, что он нарушил закон - служил внештатным юрисконсультом на нашей обувной фабрике «Кутузовка». Таким видом деятельности заниматься дяде Грише запрещено, потому что он из семьи буржуев, значит, сам буржуй и классовый враг, а поэтому «лишенец». Он лишен всех гражданских прав и даже продуктовых карточек. И теперь за нарушение закона он осужден, так как работать разрешалось ему только на самой простой работе: грузчиком, сторожем или чернорабочим.

Живут теперь тетя Вера и Аня в полуподвале одноэтажного домика. С улицы в дом ведет деревянное крылечко, но тетя Вера и Аня живут в полуподвале этого дома. Вход туда со двора. Чтобы войти в их комнату, нужно опуститься на две-три высокие ступеньки. В полутемную сырую комнату с окошками вровень с землей втиснута не конфискованная негодная старая мебель: трюмо с помутневшими зеркалами, рассыпающиеся шкафы и деревянные кровати, хромоногие столы и разные тумбочки, там очень тесно и всегда неприятно пахнет гнилью и сыростью.

Вообще же тетя Вера фельдшерица, о чем у неё есть официальное свидетельство. Но работать по специальности ей запрещено - она, как и дядя Гриша, «лишенка». И чтобы они с Аней смогли выжить, бабушка Ани, мать дяди Гриши, которая живет в Швейцарии, прислала им китлевальную машину. И тетя Вера стала кустарём, иначе - частником. Это нехорошее слово, стыдное, в нём слышится что-то буржуйское. Так что такой вид деятельности власти терпят временно и пока что облагают большими налогами.

В Полтаве китлевальных машин всего одна или две. Но дело в том, что теперь во многих семьях стоят машинки, на которых вечерами ради подработка вяжут чулки. Такие машинки и нитки на чулочной фабрике можно брать напрокат и делать работу дома - сдельно. У нас тоже у окна на столике стоит такая машинка, и мама вечерами тоже «крутит» чулки. В комнате шум и неприятный, душный запах ниток, намотанных на шпули, - это большие катушки, которые подвешиваются над машинкой.

В центре машинки цилиндр, образованный прыгающими вверх-вниз длинными толстыми иглами. Иглы часто ломаются, их надо менять, а это непросто. Но главная проблема в том, что эти машинки умеют вязать только верхнюю часть чулка, без носка и пятки. А китлевальная машина довязывает к ним нижнюю часть чулка. И поэтому многие кустари, вяжущие чулки дома, относят свою продукцию к тете Вере на Каменную.

Ходить туда я люблю. Во-первых, я могу долго смотреть, как в машинку заправляют принесенный кем-то чулок, что-то крутят, нажимают, машинка ровно стучит и снизу, натянутый специальными гирями, выползает уже готовый чулок. А во-вторых - и это для меня главное - в другом конце двора стоит странный деревянный дом с огромной шаткой террасой, покоящейся на двух кирпичных столбах, с лестницей, ведущей прямо на второй этаж. В нем никто не живет. Там щелястые деревянные стены и окна без стекол. У тети Веры там есть своя комната.

Это, скорее, большой чулан, заполненный самыми удивительными вещами: в центре стоит круглая железная бочка, до верха забитая старой рухлядью - пахнущими нафталином и пылью черными фраками и сюртуками с драными атласными лацканами, женскими корсетами из гибких, вылезающих из ветхой шелковой материи розовых прутьев, облезлыми павлиньими перьями, сломанными веерами, какими-то мятыми платьями и юбками, сухими растрескавшимися туфлями с загнутыми вверх, как у клоуна в цирке, носами; а под всем этим пыльным ворохом на дне лежат кучей книги и переплетенные подшивки журнала «Нива» за много лет.

У стены под окном стоит неиграющее пианино с половиной клавиш, издающее при надавливании на них сиплые, фальшиво-дребезжащие звуки, на стене висит пустая клетка для попугая из изогнутых железных прутьев с прикрепленной к ним ржавой кормушкой. На полках валяются театральный бинокль с одним стеклом и сломанное розовое бильбокэ, лежат большие карманные часы, которые мне разрешается разбирать и потом собирать, стоят пучком в ржавом ведре сломанные и нераскрывающиеся японские зонтики с розовыми и голубыми ручками и торчащими острыми спицами.

Под другой стеной приткнулось хромоногое кресло-качалка с обломанными лозовыми прутьями и дырами в сиденье и в спинке, поблизости громоздятся перевернутые вверх ножками стулья и пыльные матерчатые пуфики, повсюду валяется какой-то непонятный старый хлам. И среди нагромождения этого старья здесь живет и блаженствует старая дворовая кошка Анфиса. Тут ей раздолье - тепло и мышей вдоволь. Меня она знает и не боится, и я всегда приношу ей гостинчик - кусочек хлеба в блюдце с молоком. Но это еще не всё: у выходящего в сад окна, под аккуратным полотняным чехлом, застегнутым на множество пуговиц, стоит желтая фисгармония. Вот к ней прикасаться мне строго-настрого запрещено!

Но иногда я все же пытаюсь расстегнуть пять-шесть пуговиц, просунуть руку под чехол, приподнять тугую крышку и двумя-тремя пальцами нажать на клавиши. Но кроме тихого змеиного шипения никаких звуков фисгармония не издает - ведь одновременно нужно нажимать ногами и на педали, а стоя это делать невозможно. Так что большого интереса эта фисгармония у меня не вызывает. Но вообще она считается вещью дорогой, вполне исправной и её надеются продать. Но покупателя пока всё нет и нет. И стоит эта несчастная фисгармония здесь и в жару, и в мороз, и в дождь и в летнюю сушь.

Со смехом Аня мне рассказывает, что минувшим летом приходил какой-то человек, пожелавший её купить. Но когда он сел, положил руки на клавиатуру и нажал ногами педали, фисгармония издала такой звук, что у спящей на подоконнике Анфисы шерсть встала дыбом и она пулей вылетела в раскрытое окно, чего с нею до той поры никогда не случалось.

В выходные дни, если погода хорошая, мы вечерами отправляемся в Городской сад. Он находится в пяти-шести небольших кварталах от нашего дома. В конце широкой аллеи стоит деревянная раковина-эстрада, на которой вечерами играет симфонический оркестр. Исполняется обычно популярная музыка: какие-то вальсы, увертюры к опереттам, что-то еще. На невысоком помосте спиной к публике стоит дирижер, фамилия его Березовский. Он взмахивает тоненькой палочкой, кивает головой и при этом удивительно смешно приседает. Именно это нравится мне больше всего. Но в один из таких вечеров всё иначе. Еще накануне становится известно, что в парке на эстраде будет играть пианист из Москвы.

Это студент консерватории Юра Левитин, который приехал к родителям на каникулы. Все скамьи в парке перед эстрадой заняты, многие толпятся даже в проходе и за оградой. На сцене стоит сверкающий черным лаком рояль, вокруг него стулья и пюпитры оркестрантов. Мы - мама, папа и я - сидим в первом ряду перед самой эстрадой. Ожидающий гул голосов. Проходит полчаса, шум стихает. На эстраду один за другим выходят и рассаживаются музыканты, за ними, слегка косолапя, идет старый Березовский.

Он в черном фраке с длинными фалдами. Тут же за ним появляется юноша в черной бархатной курточке с белым бантом на груди. У него серьезное бледное лицо. Раздаются аплодисменты, юноша кланяется, усаживается за рояль, придвигает удобнее стул. Березовский поднимает палочку и строго оглядывает оркестрантов. Становится очень тихо. Я замираю и жду, чего - не знаю и сам. Сердце мое стучит от волнения и нетерпения.

Левитин смотрит на дирижера, тот едва заметным кивком дает знак оркестру, глухо звучит тремоло литавр - и вдруг Юра берет громкий и чистый звенящий аккорд. Затем на долю секунды замирает, как бы вдохнув воздух, и тут же берет второй такой же ясный аккорд, и вслед за этим на слушателей низвергается сверкающий каскад прекрасных аккордов, а в ответ им торжественно гремит оркестр. Рояль будто что-то спрашивает, а оркестр отвечает, в их диалог вдруг вмешиваются и нежно поют скрипки.

Теперь рояль время от времени что-то говорит, звуки его и скрипок сливаются, и я перестаю дышать. Впервые в жизни я слышу такую музыку. Я уже не замечаю смешно приседающего Березовского, я вижу лишь мелькающие над клавиатурой руки пианиста. Но вот пауза, становится тихо. Никто не уходит, тишина, пианист всё еще сидит за роялем. Проходит минута. И снова льется музыка - уже тихая и печальная.

На всю жизнь мне запоминается этот летний вечер в Городском парке, смешно приседающий Березовский и концерт для рояля с оркестром Эдварда Грига.

На следующий день, когда дома никого нет, я усаживаюсь за пианино и пытаюсь повторить так поразившие меня аккорды. Но нет, ничего не выходит. Получаются лишь бледные или даже просто неприятные, фальшивые звучания. Хотя играть я учусь уже два года, и для этого даже куплено пианино фирмы «Беккер».

Учить музыке меня решено по совету папиного старшего двоюродного брата. Он профессор Московской консерватории по классу фортепиано. Он очень очень важный и разговаривает так медленно, что я с трудом сдерживаюсь от смеха. И осенью 1928 года - мне уже шесть лет - меня начинают учить музыке. Ради этого покупают пианино фирмы «Беккер», которое всю жизнь я ненавижу из-за его сухого и короткого звучания, расшатанных клавиш и неподатливых педалей. А иногда вечерами к пианино садится и папа. Играть он никогда не учился, нот не знает, но у него очень хороший слух и играет он обеими руками два-три романса, который сам подобрал, притом, играет с чувством и гармонически правильно.

Сегодня у меня очередной урок музыки. Я хожу к моей тете (она учительница музыки) с большой черной нотной папкой на витом шнуре, на ней барельеф Бетховена в овале. Живет тетя в одноэтажном домике на Кобелякской, что стоит в глубине двора того дома, в котором живут тетя Вера и дядя Гриша. Соседи тёти, они же хозяева дома, две незамужние пожилые сестры Насветовы.

В центре совершенно пустой комнаты стоит новенький рояль фирмы «Bechstein». Он затянут белым парусиновым чехлом на пуговицах и под каждой его ножкой лежит специальная стеклянная подставка. На нем никто не играет: это рояль покойного брата хозяек, пианиста, который погиб на империалистической войне в 1915 году. А выписанный им из Вены еще до 1914 года рояль прибыл в Полтаву уже после его смерти. За рояль этот сестрам предлагают очень большие деньги, но они не продают.

Иногда с разрешения хозяек мне разрешают на этом рояле немножко «помузицировать». Конечно, это очень громко сказано: музицирование мое заключается в попытке сыграть то, что я играть уже умею, а иногда я просто набираю и вслушиваюсь в какие-то случайные аккорды и трезвучия. Но я уже хорошо понимаю: этот рояль звучит совсем не так, как мое домашнее пианино или даже как пианино моей тети, гораздо лучше!

…А сейчас, после вчерашнего концерта Юры Левитина я, расстроенный и огорченный, медленно бреду, думая о тех звенящих, сверкающих аккордах. Я иду, нотная папка волочится за мною по тротуару. Ведь всё, что я уже умею играть и за что меня даже хвалят, - все эти мажорные и минорные гаммы, упражнения Ганона, сонатины Клементи, инвенции Баха, этюды Гайдна, - всё это не идет ни в какое сравнение с теми прекрасными аккордами в концерте Грига.

…Конечно, позже я уже играю более трудные и красивые сочинения, и даже понемножку что-то сочиняю сам. Мне без труда удается сыграть услышанную красивую мелодию с почти правильным аккомпанементом. Но сочинять музыку самому мне гораздо интересней. Я уже сочинил веселый «Марш пионеров» и даже два

вальса, но записать их я еще не умею. И почему-то стесняюсь сказать, что сочинил их сам. И поэтому говорю, что эту музыку я где-то услышал и запомнил. Мои школьные и дворовые товарищи мне верят, моя музыка им нравится. Правда, как-то я выдаю музыку, которую «сочинил», за свою.

Мои товарищи мне верят, но дома меня сразу же разоблачают - это мелодия Моцарта. Я не вполне понимаю, в чем моя вина: ведь играю я не по нотам и делаю всё по-своему, совсем не так, как у Моцарта, - так почему же это не моя музыка? Мне объясняют, и я впервые слышу слово «плагиат».

В эти же дни мы с мамой на несколько дней едем к знакомым в село **Дублянщина** под Полтавой. У них взрослый сын Николай, ему лет шестнадцать-семнадцать и он работает киномехаником в сельском кинотеатре. Там идут немые картины, и обычно кто-нибудь сопровождает фильм своими импровизациями на разбитом пианино. Кинотеатр устроен в большом сарае, на стене висит кое-как натянутая простыня, вся в морщинках, а в «зале» стоят обычные скамейки без спинок. В один из дней Николай ведет меня к себе в кинобудку - показать свою гордость: киноаппарат. А вечером на одном сеансе я пробую импровизировать на пианино под идущую картину.

Но обычно лето я провожу дома, в нашем дворе, там все мои друзья, там мне хорошо, весело и интересно.

…Дворы нашего детства! Наше прибежище, надежное укрытие и защита от обид и невзгод, центр общения, неизменный веселый клуб. Здесь мы находим дружеское понимание и поддержку, испытываем чувство безопасности. Здесь мы взрослеем и впервые видим ночное небо в туманной россыпи звезд Млечного Пути, познаем человеческие слабости и характеры, иногда ссоримся и даже деремся, а потом миримся, здесь мы взахлёб обсуждаем захватывающие события из увиденных потрясающих воображение фильмов «Мисс Менд», «Серебряный шар», «Принцессы джунглей» или события прочитанных книг.

Здесь мы играем в жмурки или крокет, в казаков-разбойников или футбол, сооружаем из веток и разного хлама шалаши- «халабуды» с их уютным зеленым полумраком, где так интересно и с замиранием сердца можно слушать и вполголоса обсуждать жуткие истории о воскресших мертвецах, привидениях или проделках нечистой силы…Здесь мы издаем нашу дворовую стенгазету, устраиваем кукольный театр, сооружаем из биноклей телескоп и в черные августовские ночи вглядываемся в темные провалы Вселенной, отыскиваем горящие алмазным блеском созвездия с неизъяснимо волнующими, от которых замирает сердце загадочными названиями, - Кассиопея, Альдебаран, Козерог, Стожары…

…Укрытые от всего мира домами и дощатыми сараями, густо заросшие деревьями и кустами, дворы нашего детства ничем не похожи на нынешние асфальтированные пространства новых микрорайонов с чахлой пыльной зеленью, робко ютящейся между равнодушными многоэтажными исполинами.

Еще не дремлют у стен домов роскошные иномарки, не светятся в комфортабельных квартирах цветные экраны телевизоров и не несется из окон писк мобильных телефонов, заменивших людям живое общение и неторопливые беседы за вечерним чаем.

Вместе с исчезнувшими дворами нашего детства навсегда растаяло и чувство братства, равенства и демократичности нашего бытия.

…Но вот уже осень 1931 года, снова школа, я во 2-й группе. В школе мне нравится. Она в моей жизни занимает главное место. Там мои товарищи и приятели, слушать учительницу и узнавать каждый день что-нибудь новое интересно, и даже мелкие обиды, стычки или даже драки быстро забываются.

Постепенно в школе определяются лидеры - кто-то сильнее всех и может побороть любого мальчика не только из нашей, но и из другой группы. Кто-то лучше всех решает задачки по арифметике, кто-то хорошо рисует, а кто-то больше других читал книг и может без конца рассказывать разные истории из Жюля Верна или Майн Рида. Но зато в нашей группе я играю на пианино лучше всех, хотя играть учатся многие.

Правда, в нашей школе есть пианисты гораздо лучше меня. С этого года ежедневно на большой перемене в зале обязательные бальные танцы - танцуют все, а кто-то из учеников играет на пианино, стоящем на сцене. Танцы - краковяк, полька, падэспань и вальс. Лучше всех играет Севка Рождественский, он уже в 7-й группе. Он невысокий, вихрастый, его считают хулиганом и «срывщиком», но когда он садится за пианино, равных ему нет. У него не только блестящая техника, но он берет такие аккорды, какие мне только снятся. В те дни, когда играет он, я сижу рядом и не могу отойти ни на шаг. И потом дома безуспешно пытаюсь повторить. (После войны Всеволод Рождественский - главный дирижер Киевского театра музыкальной комедии, но пока до этого еще далеко). А иногда играет Борька Яровинский (впоследствии он украинский композитор), он уже в 3-й группе и учится в школе для одаренных детей в Харькове. Он тоже играет очень хорошо. Ну, а третий - я. Я умею играть краковяк, польку и вальс. По слуху. Все говорят, что играю я неплохо, но сам я хорошо слышу разницу между моей игрой и игрой старших мальчиков.

Летом меня отправляют в пионерский лагерь в селе Шмыгли - это недалеко от Полтавы. На огороженной высоким деревянным забором лесной опушке стоит небольшой домик, в нем всего четыре комнаты - это наши палаты: две для мальчиков и две для девочек. На территории растут сосны, между ними трава и кустарник, и только под флагштоком спортивная площадка, она вытоптана и посыпана желтым песком. Второй домик в стороне - это столовая с кухней, в нем также живут наши воспитатели и вожатые.

Подъем у нас в восемь утра. На спортплощадке мы делаем зарядку, бегаем по кругу и торжественно поднимаем флаг на высокой мачте-флагштоке. Горниста у нас нет, но есть барабанщик Изя Шпак, который замечательно выбивает дробь и будит

нас. Иногда он снисходительно разрешает попробовать и другим. Но так, как у Изи, не выходит ни у кого, и я ему остро завидую и мечтаю о собственном барабане.
Умываемся мы во дворе: рядом с колодцем под жестяным навесом стоит длинный умывальник с кранами-висюльками и жестяным поддоном, а подальше у забора уборная - дощатое сооружение, разделенное на две половины - для мальчиков и девочек - с большими белыми буквами «М» и «Д». Иногда у нас бывают «военные занятия» - мы строимся по четыре в ряд, маршируем и весело распеваем:

Возьмем винтовки новые,
На штык – флажки!
И с песнею в стрелковые
Пойдем кружки!

Одной стороной забор отделяет нас от грунтового шоссе в засохших глубоких колеях, по которому в обоих направлениях ездят подводы и изредка в клубах желтой пыли проезжают автомобили. Там всегда лежит сухой конский навоз, а во время дождя жидкая грязь, в которой вязнут колеса подвод. Туда выходят главные ворота нашего лагеря, но на шоссе нас не выпускают. За шоссе расстилается поле с подсолнухами, а еще дальше в низине течет неширокая мелкая речушка в песчаных берегах, сплошь заросших осокой и какими-то кустами.

Туда нас водят строем и разрешают купаться группами по три-четыре человека, и только вместе с вожатыми. А с другой стороны лагеря большой луг и за ним темнеет сосновый лес. Руководит лагерем начальница, мама одного нашего соученика. А играми и зарядкой занимается Валентин Федорович Головня, учитель математики. Он молодой и веселый. Как и мы, днем он ходит в трусах и майке, любит петь, а вечерами собирает нас у костра, на котором мы печем картошку, и рассказывает разные истории. Он учит нас вязать морские узлы и иногда проводит игру-поиск, в которой нужно найти где-то спрятанный им пионерский барабан.

Для этого Валентин Федорович делит нас на боевые отряды и выдает секретные приказы-записки с приметами, по которым мы бродим по лесу от одного места к другому, ищем зарубки на деревьях или какие-то следы на земле, там мы находим новые записки с новыми указаниями, и так до тех пор, пока не обнаруживаем барабан. Или его находит другой отряд - наши соперники по поиску. Еще в лесу мы собираем землянику и грибы и сдаем на кухню. Но кормят нас очень невкусно. От ежедневного горохового или капустного супа у нас пучит животы, на второе дают картошку или «бифштекс» из моркови, а на третье - иногда! - «мороженое». Это теплая сладкая молочно-мучная жижа, которую наливают нам в глубокие тарелки.

На обед нас созывает тот же Изя - для этого у него специальная барабанная дробь, которая расшифровывается такими словами:

Бер-рри ложку
Бер-рри бак
Нема ложки -
Шамай так!

Плохо лишь то, что в палатах очень много мух, они роем кружат вокруг лампочки, сидят на столе и на стенах, жужжат, садятся на лицо и мешают спать, и мы делаем мухобойки из листьев лопуха или газетной бумаги, чтобы их истреблять. У нас в палатах есть свои чемпионы по истреблению мух, о них сообщают на линейке и пишут в стенгазете. Но мух меньше не становится.

У меня есть друг - это Ланька Фанталис. В школе мы с ним в разных группах, но дружим. Он белобрысый, худой, всегда молчит и о чем-то думает. Как-то он отводит меня подальше и, озираясь и понизив голос, по большому секрету сообщает, что изобрел вечный двигатель. Но пока что это страшная тайна, так как враги СССР могут узнать и похитить его изобретение.

В девять вечера у нас отбой, в палатах гасят свет и в темноте полушепотом начинаются страшные рассказы - о привидениях и воскресших мертвецах, о пиратах и шпионах, - тут и всадник без головы, и Вий, и собака Баскервилей и еще многое другое.

Но вот приходит достопамятный 1933-й год. Время от времени в вечерних сумерках мимо нашего дома по неровному булыжнику Сретенской в сторону Кабыщанов худые лошадки неспешно везут на тарахтящих подводах-платформах накрытые брезентом тела умерших. Из-под брезента торчат и дергаются, как живые, желтые ноги. Однажды в поисках вылетевшего со двора мяча мы обнаруживаем уже распухшего и почерневшего мертвеца в густых кустах акации у самого нашего дома. И у нас на лестничной площадке между этажами лежит мертвый мужчина в зловонных лохмотьях. Всю ночь он кричал и громко стонал, дважды к нему выходил папа и давал что-то выпить. «Он весь во вшах, - расстроено сказал он маме, но я расслышал. - В больницы таких не берут».

Лето. Мы с мамой идем на базар. Вдоль Шевченковской, начиная от улицы Фрунзе, под стенами домов на тротуаре сидят старики в лохмотьях со слезящимися глазами, деревенские женщины с худыми бледными детьми или младенцами на руках. Они протягивают к нам руки и жалобно просят милостыню. Я стараюсь на них не смотреть, мне их жалко, но их так много…И подать мне им нечего. Почему-то мне перед ними стыдно, у меня такое чувство, будто я виноват, - ведь они несчастные, бедные и голодные, а я сыт и даже живу хорошо…А у входа на базар прямо на мостовой дымят передвижные печки-жаровни, рядом с ними орудуют красномордые распаренные тётки в закатанных до локтей кофтах и в грязных передниках, с падающими на потный лоб волосами, которые они то и дело отводят с лица локтем.

От печек струится дымный жар и вокруг распространяется прекрасный запах жареного мяса. На огромных сковородах шипят котлеты, время от времени женщины лопатками их переворачивают, снимают готовые, ловко бросают на фанерки или дощечки и отдают толпящимся рядом людям с голодными глазами, которые тут же жадно их съедают. Я глотаю слюну и прошу маму купить мне хоть одну котлетку. Но

мама неумолима. Он с силой тащит меня подальше от этих жаровен, и в её лице я вижу отвращение.

На углу нашей Комсомольской и улицы Шевченко закрывается лавка в подвальчике, которую у нас дома называют «У Бондаренко». Раньше там мы покупали хлеб, мыло, подсолнечное масло, еще что-то, я нередко бегал туда за папиросами для папы. Но уже ничего этого в лавке нет. Она закрыта и на двери висит большой замок. И в просторном центральном гастрономе на Октябрьской тоже пусто - на полках громоздятся пирамиды пачек «Кофе-цикорий» и серо-голубых консервных банок с надписью «СНАТКА» - это крабы. Но их не покупают - никто не знает, что это такое и что с ними можно делать. В магазине ни души. Кроме сельтерской воды на полках абсолютная пустота. Закрывается соседний магазинчик «ТЭЖЭ», где раньше продавались туалетное мыло, духи, одеколоны или лак для ногтей.

Рядом с ним еще работает маленький магазин писчебумажных принадлежностей - там можно купить чернила, перья для ручек, карандаши, альбомы для рисования, промокашки, и иногда, если повезет, и тетради. Но обычно мне привозят их из Харькова. Повсюду, и у нас дома тоже, тихие озабоченные разговоры вокруг продовольственных проблем. Но на себе это я пока не ощущаю.

Но вот уже зима, и на сцену выходит верный грозный спутник голода и нищеты - эпидемия сыпного тифа. То и дело по утрам я слышу из столовой тихие голоса родителей - ночью умер тот, заболел другой, в больницах свободных коек уже нет и больных кладут прямо на пол, врачи сбиваются с ног… В аптеках готовят дезинфицирующие средства от вшей: папа придумал какие-то составы, о них пишут в нашей газете «Більшовик Полтавщини». Провизоры часто работают всю ночь, готовя и фасуя эти средства, и папа приходит домой лишь под утро, обросший и серый от усталости.

Осенью нам привозят из деревни литровую банку лярда. Лярд - это топленое свиное сало, хороший лярд не имеет запаха. Но привезенный лярд перетоплен из сала, собранного с кишок и прочих внутренностей. И при разогревании или жарке он испускает отвратительное зловоние. Возвращаясь со школы, я слышу этот запах уже внизу, у нашего парадного. И меня начинает мутить. Есть пищу, изготовленную на этом лярде, я не могу, меня тошнит. Папа сердится.

- Это жир! – строго говорит он. - У других детей нет и этого. Ешь!

Я плачу, давлюсь и с трудом ем. Иногда даже выбегаю из-за стола и рву.

Впрочем, не всё так уж безотрадно. На улице Котляревской (вблизи памятника Котляревскому) недавно открылся магазин «Торгсин» - это аббревиатура слов «Торговля с иностранцами». На тротуаре перед входом цветной плиткой выложена надпись «СОРАБКОП» еще 20-х годов - «советская рабочая кооперация». В «Торгсине» есть всё. Внутри я ни разу не был, но через большое витринное окно можно видеть прилавки и стоящих за ними продавцов в белых халатах и шапочках. Но чтобы там покупать, нужно иметь американские доллары или сдавать золото или серебро. Мои родители сдают серебряную столовую посуду: ложки, вилки, ножи. Ура!

Теперь у нас всё есть. Но, увы, это ненадолго. Золота у нас нет, а столовое серебро уже сдано…

Время от времени к нам приходит старуха Аникеева. Она очень старая, худая и плохо одета. С мамой они сидят за столом, мама её кормит, потом они пьют чай и разговаривают - иногда по-немецки или по-польски. Маму Аникеева называет Майечка. Когда Аникеева уходит, мама дает ей немного денег или что-нибудь из еды или одежды. Я знаю, что когда-то Аникеева жила в Польше в городе Замостье, на родине моей мамы. Муж Аникеевой был русским генералом, у неё были еще сын-поручик и дочь. В 1916 году во время наступления немцев Аникеева с дочкой уехали в Полтаву, где в своем доме на улице Мало-Садовой жили их родственники. Дочка Аникеевых вышла замуж и уехала во Францию, а генерал Аникеев [о расстреле генерала Аникеева есть запись в дневнике Несвицкого за 9 сентября 1919 г. - Т.Б.] и сын к Белой армии Алексеева-Деникина не примкнули и весной 1918 года приехали в Полтаву - просто жить и работать. Но во время «красного террора» (после покушения Фанни Каплан на Ленина осенью 1918 года) наши доблестные чекисты расстреляли их ночью прямо во дворе.

У Аникеевой хранится копия возмущенного письма В. Г. Короленко на имя Луначарского, на которое ответа так и не последовало. Теперь Аникеева обитает с «гулящей» женщиной на чердаке старого дома у базара и служит прачкой в военном госпитале. Она владеет тремя иностранными языками, но на работу её никуда не берут [рассказ Аникеевой о годах немецкой оккупации смотрите в пятой части воспоминаний - Т.Б.].

Время от времени я слышу тихие разговоры, что папе необходим новый костюм. Тот, в котором он ходит на работу, сильно поистрепался. Бахромятся обшлага рукавов пиджака и манжеты брюк, да и брюки протерлись. Но готовые костюмы в продаже бывают очень редко. А пошить на заказ невозможно - никаких тканей в продаже нет. В один из дней рано утром прибегает запыхавшаяся соседка - она продавщица в магазине - и сообщает, что вчера вечером к ним привезли мужские костюмы. И через час мы все вместе отправляемся в этот магазин, который у нас называют «Пятый номер». Костюмы тесно висят на плечиках, они мутно-серого цвета или темно-коричневые. В магазине шумит очередь.

Папа меряет один за другим, но ничего подходящего по размеру нет. Очередь нетерпеливо сердится. Наконец папа с трудом отбирает костюм - он грязно-серого цвета, шершавый и какой-то мятый, пиджак висит на папе, как мешок, лацканы закручиваются и оттопыриваются, а брюки велики и широки в поясе. Папа нервничает, мама сердится. Но других костюмов нет, и нужно брать этот, пока они есть. Скоро не будет и таких - раскупят. А уже потом портной, наш сосед по дому, произведет подгонку.

Утром в дворе нас, пацанов, подзывают старшие мальчики из нашего дома. Им уже по шестнадцать, они потихоньку курят и матерно ругаются.

- Пацаны, - говорят они. - Кто-нибудь из вас шамал на базаре жареные котлетки? И как? Было вкусно? - Они смеются .- А ведь они из человеческого мяса. Мы идем смотреть дом, где была та кухня. Это на Подоле. Айда с нами?

Я минуту раздумываю - мама и папа на работе. А-а, пойду, они и не узнают. Со мною отправляются дворовые друзья, впереди шагают старшие мальчики. Дом этот внизу на Подоле, недалеко от Южного вокзала. По пути нам рассказывают, что людей ловили и убивали ночью, когда они шли в город по Подольскому подъёму. Да, вспоминаю я, у нас дома не раз с тревогой говорили о пропавших людях. Так вот оно что! А вот и сам этот домик. Он одноэтажный, стоит в глубине улицы, пустые оконные и дверные проёмы, только стены и крыша. Мы опасливо приближаемся. В полу комнаты люк в подвал, крышка его отброшена и в глубине темно. А за домом большой ящик для мусора с крышкой. Там, по слухам, соседи случайно обнаружили «отходы» - пальцы рук, волосы, кишки, еще что-то. Вокруг ни души. Как-то жутко. Мы молчим. О том, где сегодня утром я был и что видел, дома я не рассказываю, но мне почему-то не по себе. Я какой-то вялый и слегка болит голова. Мне ставят градусник. Температура немного повышена. Меня отправляют в постель и дают выпить на ночь какую-то микстуру.

Весной мама заканчивает шестимесячные курсы счетоводов. Вечерами она дает уроки немецкого языка приходящим ученикам и еще сама учится в Заочном институте иностранных языков «ИнЯз» в Харькове. А папа служит управляющим городской аптекой и тоже учится заочно в Харьковском фармацевтическом институте. Иногда он туда уезжает на сессии. До революции он учился экстерном в Харьковском университете, но окончить не успел и получил диплом «аптекарского помощника» - помощника провизора. В теплые летние дни я ношу папе на работу завтрак. Рядом с аптекой огороженный высоким забором и заросший бурьяном пустырь. Раньше там стояла снесенная церковь Сретения.

В папиной аптеке всегда особый запах лекарств и каких-то трав. Провизоры в белых халатах сидят в соседней комнате за длинными столами, уставленными весами, банками с разноцветными жидкостями и пробирками в высоких штативах, они что-то толкут или растирают, а вдоль стен тянутся остекленные шкафы с надписями на непонятном языке и со змеей, обвивающей высокую рюмку на тонкой ножке. На некоторых шкафах изображен жуткий человеческий череп со скрещенными под ним костями и ниже какие-то слова. Этих шкафов я слегка побаиваюсь и стараюсь поскорее пройти мимо.

А вот на работе у мамы я не был ни разу. Мама служит в тюрьме на улице Фрунзе, это недалеко от базара. Она счетовод в тюремной бухгалтерии. В половине восьмого утра она уходит из дому и возвращается к пяти. Тюрьму, где она служит, я видел издали уже несколько раз. Это длинное приземистое двухэтажное здание с редкими зарешеченными окошками, оно выглядывает из-за высокой белой стены. Поверх стены натянута колючая проволока, а на улицу выходят большие железные ворота с калиткой, рядом будка с часовым.

Однажды мы с папой провожаем маму на работу и видим, как она подходит к часовому и показывает ему пропуск. Тот трижды очень громко и с интервалами стучит кулаком в железные ворота, калитка изнутри отворяется, впускает маму и затем с железным лязгом затворяется. Рядом трое рабочих в измазанной мелом одежде стоят на подмостях и белят стену, а другие снизу подают им ведра. И вдруг папа задумчиво говорит: «Каменщик, каменщик в фартуке белом Что ты там строишь, кому? Эй, проходи, мы здесь заняты делом,

Строим мы, строим тюрьму»…Он усмехается и добавляет: «Это стихи поэта Валерия Брюссова». Мы медленно идем домой, но этот тройной стук часового в железные ворота производит на меня большое впечатление. Во дворе я по большому секрету рассказываю об этом моим товарищам и фантазирую, что это особый сигнал настоящих чекистов. Они мне верят, и мы поочередно учимся так стучать - трижды, с интервалами, в стенку сарая.

Но вообще службой мамы в тюрьме папа очень недоволен, хотя там ежемесячно выдают паёк, и жалованье выше, чем в других учреждениях. Как-то за обедом мама рассказывает, что сегодня днем главбух - он из осужденных - когда в комнате никого нет, просит её вынести и опустить в почтовый ящик его письмо. Дело в том, поясняет мама, что он имеет право всего лишь на два письма в год. Письмо мама, конечно, вынесла и опустила в ящик.

Это уже не первое письмо от него и еще от кого-то. Но это очень опасно. Папа сердится. И вскоре после этого мама в тюрьме уже не работает. Этим летом она уже оканчивает «ИнЯз» и начинает преподавать немецкий язык на вечернем отделении рабфака при строительном институте. И одновременно работает днем счетоводом там же, в институтской бухгалтерии. Уходит она рано утром, а приходит лишь вечером, после лекций. Так что по дому теперь ей помогает домработница Маруся - Руся. Ей шестнадцать лет, она маленькая, светловолосая и очень веселая. По дому она не ходит, а летает. И когда что-то делает на кухне или стирает в ванной комнате, то громко поёт. Она из ближнего села Рыбцы.

Город Полтава, в котором живет почти девяносто тысяч человек и вдоль улиц стоят каменные двух- и трехэтажные дома, по булыжным мостовым ездят извозчики, а иногда даже проезжают автомобили, кажется Русе громадным и необозримым.

- Ой, яке велике місто! - говорит она, восторженно распахивая глаза. - Стільки людей! А які великі будинки!

Её всё удивляет. Мы сидим в комнате, когда туда влетает испуганная Руся.

- Ой, що я наробила! - в ужасе кричит она. Мы вскакиваем. Мама выбегает за Русей и тут же со смехом возвращается. Всё очень просто. В уборной Руся потянула шнур от бачка, и вода с шумом низверглась в унитаз. Все смеются, и больше всех рада сама Руся. Тайком она еще несколько раз уходит в туалет и спускает воду. Ей это очень нравится. Проходит еще несколько дней, и снова Руся в недоумении. Меняется постельное белье. Из комода мама достает пододеяльник и протягивает Русе. Руся не понимает.

- Для чого це? - удивленно спрашивает она. - Щоб туди ноги встромляти?

Ей объясняют, но я вижу, что она еще не поняла. Разговаривает Руся только по-украински, но для меня это значения не имеет, я и сам хорошо говорю, ведь няня со мною говорила только так.

Но Руся у нас недолго. Это уже зима 32/33 года, и для встречи Нового года у нас собираются знакомые. Шумно, идут разговоры. Меня отправляют спать. Мы с Русей сидим на диване в другой, моей, комнате и рассматриваем картинки в какой-то книге. Уже поздно, глаза мои слипаются. Руся стелит мне постель, ставит рядом свою раскладушку и гасит свет. Мы укладываемся и еще долго шепчемся. Я уже усыпаю и вдруг слышу её шепот: «А можно я до тебе ляжу? А то дуже холодно!» - «Лягай», - спокойно говорю я. Никаких мыслей у меня нет. Я еще глупый теленок. Еще миг, и Руся у меня под одеялом. Она меня обнимает и дышит мне в лицо. Мне хорошо, тепло, уютно. Мы лежим, прижавшись, и я усыпаю. Вошедшая ночью мама обнаруживает нас, спящих в обнимку под одним одеялом. И Руся из нашего дома исчезает.

В школу ходить я очень люблю. Наша учительница Вера Яковлевна Костецкая небольшая, худенькая, с мягкой доброй улыбкой, она всегда в белой блузочке с отложным воротничком. Всех нас она знает по именам и сама рассаживает по партам. Те, кто ростом поменьше, сидят поближе к доске. (Уже гораздо позже я узнаю, что она - многолетняя подруга знаменитого педагога А. С. Макаренко, первого директора моей школы). И здание школы тоже мне нравится - оно массивное, двухэтажное, с угловым полукруглым каменным балконом.

Построено оно еще до революции для «Народного училища» на деньги писателя В. Г. Короленко. К нему примыкает другое здание, тоже двухэтажное, но поменьше, в общей стене пробиты соединяющие двери, но уровни полов не совпадают и там устроены переходные ступеньки. На переменах мы бегаем туда-сюда по этим ступенькам и иногда так забиваем узкие проходы, что не можем сдвинуться с места. Как-то в такую минуту к нам, застрявшим в двери, подходит Филипон - это математик Филипп Андреевич Ильин, - он усмехается и говорит:

- Что, застряли, как нечистая сила в дверях и окнах церкви? «Вий» Гоголя читали?

Он освобождает нас, выпускает на свободу и, уходя, добавляет:

- Читайте, дети, Гоголя. Не пожалеете.

Дома я рассказываю об этом случае, и с этого дня начинается мое верное и неизменное - на всю жизнь! - восхищение сочинениями Гоголя. В эти дни моим любимым чтением становятся «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Страшная месть», «Заколдованное место», «Ночь перед Рождеством» и, конечно, «Вий».

В классе я сижу у окна во втором ряду с девочкой, которую зовут Тая. Она беленькая, курносенькая, с тощими косичками, заплетенными розовыми ленточками, и очень гордая. Когда я к ней обращаюсь, она вздергивает носик и надменно смотрит на меня. Правда, иногда она становится добрее, особенно, когда ей нужно отвечать выученные дома стихи, а я тихонько ей подсказываю. Тая мне очень нравится, и я

стараюсь ей угодить - чищу перо в её ручке, наливаю чернила в нашу общую чернильницу, отдаю ей промокашки - свои Тая все время теряет, - а однажды даже дарю переводные картинки, которые из Харькова привезла мне мама. Дары мои Тая принимает снисходительно и поощрительно кивает головой. После уроков у дверей школы её всегда ждет мама. Как-то на переменке Тая спрашивает меня:

- А кто твой папа?

Я с гордостью говорю:

- Он начальник главной аптеки в городе.

Тая кривится.

- Фу! Я аптек не люблю, там пахнет лекарствами. - И важно добавляет: - А мой папа чекист! Он видел самого Сталина. Даже два раза!

Вечером дома я рассказываю об этом разговоре и спрашиваю - что такое «чекист»? Мама и папа переглядываются.

- А как фамилия твоей Таи?

- Слипко, - говорю я. - А что?

Пауза.

- Ничего, - произносит папа с непонятной для меня интонацией. - Чекист - это рыцарь революции.

И утыкается носом в свою газету.

Лето, конец августа, 1933-й год. Всё чаще и чаще на улицах можно увидеть фигуры вяло бредущих людей в лохмотьях и чаще всего босых. Это крестьяне. От них исходит тяжелый запах немытого тела и грязных отрепьев. Они толпятся у магазинов и у дверей столовых нарпита, лежат на тротуарах и просят милостыню. Мы во дворе играем в цурки-палки, когда во двор входит женщина в поношенной деревенской одежде. На руках у неё спящая девочка лет двух-трех, рядом, держась за юбку матери, бредёт мальчик. Как и мать, он тоже босой и плохо одет. Ноги у них в пыли и опухшие. В руке мальчика палка - отгонять собак. Они входят и просительно смотрят на нас.

- Хлопчики, - жалобно говорит женщина. - Принесіть діточкам що небудь поїсти!

Мы разбегаемся по домам. Но мама и папа на работе, и что можно вынести, я не знаю. Вдруг я замечаю на подоконнике мой пугач, а рядом с ним коробочку с бумажными пистонами. Пугач совсем как настоящий, он черный и блестит, его приятно держать в руке. Это прошлогодний подарок мне ко дню рождения. Отдавать его чуть-чуть жалко. Но я хватаю его и пистоны и выбегаю во двор. Женщина с детьми уже ушла. На углу я их догоняю. Мальчик грызет сырую свеклу, кроваво-красный сок стекает по его подбородку. У него красные воспаленные глаза. Я протягиваю ему пугач.

- Возьми, - равнодушно говорю я. - Мне он не нужен. Смотри, как его нужно заряжать.

Я достаю из коробочки бумажный пистон, кладу в пугач и нажимаю. Раздается сухой хлопок. Мальчик оживляется. Грязной ручкой он робко берет игрушку, рассматривает и смеется. Затем заряжает сам, опасливо жмурится, стреляет и снова смеется. Потом с сожалением протягивает пугач мне.

- Нет! - кричу я, убегая. - Нет, это тебе! Бери!

И в течение всего дня я вспоминаю этого мальчика. На следующий день в школе я рассказываю Тае об этих людях и о мальчике, которому подарил пугач. Я жду, что Тая меня похвалит. Но она хмурится.

- Ну и дурак, - презрительно говорит она. - Папа говорит, что все они лентяи и просто не хотят работать. Притворяются нищими и выпрашивают еду. - Она молчит и добавляет: - Если они приходят во двор к нам, папа их ругает и выгоняет.

…После этих слов Таи во мне что-то меняется. Но объяснить, что произошло, я не могу. Она мне больше не нравится. Я рад, когда Вера Яковлевна снова нас пересаживает. Теперь я сижу на одной парте с мальчиком Витей. Он очень близорукий и в очках. Мы с ним дружим и на переменках ходим по школьному двору. Витя учит меня китайскому языку, который, как вскоре выясняется, выдумал он сам.

В школе у нас, как и всюду в СССР, «пятидневка» - то есть все работают и учатся только четыре дня, а пятый - выходной. Так что выходных дней у нас много - по числам календаря 5-, 10-, 15-, 20-, 25- и 30-е. О том, что дни имеют названия - понедельник, вторник, среда и еще какие-то, я слышал, но их последовательности не знаю.

Мне купили ранец, он кисло пахнет клеёнкой и в жаркую погоду становится неприятно липким. В нём, кроме книг, тетрадей и пенала помещается еще много очень важных вещей, в том числе марки для обмена, конфетные «фунтики» и «бабки» - кости для игры. Но однажды во время урока из него выпадает сухая распластанная ящерица, которую на перемене я выменял на двойник французской марки. Девчонки визжат, и Вера Яковлевна выставляет меня из класса. А однажды кто-то приносит в класс тощего ободранного уличного кота.

Кот худой и несчастный. Мы его кормим, поим молоком, гладим, а на уроках прячем в стенном шкафу. Девочки назвали его красивым именем Ричард и хотят одеть на шею ему бант, но коту это не нравится, он сопротивляется, царапается и орёт гнусавым мявом. Так проходит два дня, а на третий, несмотря на сытую жизнь, Ричард не выдерживает заточения. И на уроке арифметики устраивает в шкафу отчаянный концерт. Кончается это плохо - не для кота: он-то молниеносно удирает через окно во двор, а в школу вызывают наших родителей…

Да и вообще мы не ангелочки с белыми крылышками. Мы часто ссоримся и деремся, хотя я драться не люблю - обычно от драчунов и задир больше достается мне. Иногда мы проказничаем - пристраиваем кому-нибудь на сиденье парты торчком кончик пёрышка, на перемене, когда девчонки в коридоре, ставим жирные кляксы в их аккуратные тетрадки, дергаем на уроках за косички. Я такой же. Дома скрываю от

родителей замечания учительницы, не говорю, что днем разбил чашку или тарелку или что ходил с товарищами туда, куда ходить мне категорически запрещено.

Иногда Вера Яковлевна устраивает нам «пустой урок». Это значит, что каждый может что-нибудь рассказывать - кто что хочет, никакой «цензуры». Но большинство любят только слушать, а постоянных рассказчиков у нас немного, три-четыре мальчика, в их числе я. Я получаю ежемесячный детский журнал «Чиж» (а немного позже - «Ёж»), в нем много очень интересных рассказов и описаний разных исторических событий. Другие ребята читают «Пионер», и мы взахлеб обмениваемся пересказом потрясающих повестей, таких, как «Маракотова бездна», «Человек-невидимка» или «Мисс Менд». Вера Яковлевна слушает, улыбается и время от времени умеряет пыл рассказчика. Такие «пустые уроки» у нас любят все. Я выступаю редко, но иногда что-нибудь рассказываю и я. У нас дома есть книги о восстании Спартака, я их листал и немного даже читал и могу рассказать. А с младшим двоюродным братом Витей мы обычно читаем вслух. Наши любимые книги - это «Очерки бурсы» Помяловского, книга очень смешная, рассказы Аверченко и, конечно, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. Мы их читаем и от хохота катаемся по полу. Но всё же самые мои любимые книги - это «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Школа» Аркадия Гайдара и «Дерсу Узала» Арсеньева. Их я могу читать и перечитывать хоть сто раз, открыв с любой страницы.

В феврале 1933 года главным событием в стране становится пароход «Челюскин». В Чукотском море он затёрт льдами Арктики. Как и вся страна, мы в школе с замиранием сердца следим за драматической эпопеей снятия нашими летчиками с дрейфующей льдины экипажа парохода. В эти дни я впервые сочиняю и играю в школе на сборе отряда свой «Марш челюскинцев». А позже, в июле этого же года, наш полтавский летчик, начальник Всеукраинской лётной школы Осовиахима **Сигизмунд Леваневский** вылетает на Чукотку для участия в отыскании и спасении потерпевшего аварию во льдах Арктики американского летчика Джорджа Маттерна. Леваневскому удается его найти, он доставляет Маттерна в город Ном, что на Аляске. За это президент Америки награждает Леваневского ценными подарками и автомобилем. Леваневские живут на втором этаже старого двухэтажного дома во дворе по улице Котляревского - почти на углу Октябрьской. (Почти не изменившийся, он там и по сей день). Дочке Норе Леваневский привозит из Америки детский педальный автомобиль-дрезину. Как-то Нора приглашает меня в гости, и мы с нею по очереди катаемся на этой дрезине вокруг стола в их большой комнате. А легковую машину Леваневского у нас в городе знают все - это мышиного цвета «Форд». Вообще легковых автомобилей в городе мало, и кроме машины Леваневского мы знаем еще черную машину врача-рентгенолога Тарнавского. Вскоре семья Леваневских перебираются в подаренный им правительством дом на улице Каменной - на той, на которой живет моя тетя Вера (отныне и посейчас эта улица носит имя Леваневского. Немного позже Леваневские переезжают в Москву).

Летом этого же, 1933 года, мы с мамой едем на неделю в Днепропетровск погостить к тете и дяде. Дядя прислан туда из Москвы с важным партийным поручением. Он большевик и член партии с 1917 года. Живут они на втором этаже небольшого дома, у них две небольшие светлые комнаты. На одной с ними лестничной площадке живет первый секретарь обкома партии Хатаевич. Дядя прикреплен к «тридцатке» - так называется круг лиц, которые получают продукты из специального магазина для начальства. Утром на завтрак у нас белый хлеб, масло и красная икра, которую я вижу и пробую первый раз в жизни. Потом все пьют кофе, но мне он не нравится, все смеются и дают мне теплое молоко. Два или три раза мы ездим в центр города на трамвае. Трамваи я уже видел в Харькове. Тогда невиданно-огромные дома высотой в пять-шесть этажей, лифты и пронзительно звонящие трамваи с дугами, рассыпающими на поворотах снопы огненных искр, меня ошеломили. А сейчас я смотрю на трамваи равнодушно, уже без восторга.

В один из теплых дней нас с мамой везут в Запорожье - показать плотину Днепрогэса. Это близко, всего несколько часов езды. Уже подъезжая, мы слышим глухой ровный шум падающей воды. Плотина высится над водой на шестьдесят метров - это почти двадцать этажей. Включены все секции и из них с грохотом низвергаются гигантские сверкающие водопады. Над водой висят белесые облачка водяной пыли, в них дрожат многоцветные радуги, а внизу мчатся яростные кипящие вспененные потоки, обегающие с обеих сторон торчащие из воды и мокро сверкающие гигантские бурые скалы - пороги.

Из конца в конец гигантской подковы-плотины тянется широкий асфальтированный проезд, по которому проезжают трамваи, бегут машины и вдоль перил ходят или стоят и смотрят вниз люди. Наша машина въезжает на плотину, мы выходим и стоим у сырых и холодных бетонных перил и смотрим вниз на грохочущие сине-зеленые водопады. В носу щекочет от мелкой водяной пыли, из-за шума падающей воды разговаривать трудно, и чтобы услышать друг друга, приходится кричать.

Но вот приходит приснопамятный год 1937-й. Я уже в 7-м классе и многое понимаю. В августе минувшего 1936-го года в Москве прошел громкий процесс по делу троцкистско-зиновьевского объединенного центра. Всюду по стране идут аресты врагов народа и шпионов, об этом пишут в газете «Известия». На общем собрании учеников старших классов наш историк, он же директор школы по прозвищу Сало, косноязычно разъясняет нам смысл этих процессов. Он бывший командир Красной армии, воевал с белополяками в 1920 году и любит подолгу разглагольствовать на эти темы. Сейчас с пеной у рта он извергает проклятия на головы преступников - замаскировавшихся врагов народа. Мы слушаем и верим. Дома я пересказываю его слова, но реакция родителей что-то очень слабая…

Утро. Я уже проснулся, но еще лежу в постели и слышу два звонка - это к нам. Особенно меня это не беспокоит, но последующее меня настораживает. Я слышу какие-то тревожные, взволнованные голоса, громкий шепот, вслед за этим хлопает

входная дверь и кто-то уходит. Я вскакиваю и выхожу в столовую. Мама и папа о чем-то шепчутся, лица у них растерянные и бледные. Я с вопросом смотрю на них. Они переглядываются. «Вот что, - говорит папа. - Ты уже большой и всё понимаешь. Ночью арестован дядя Ваня Писаревский. Это не секрет, но ни с кем говорить об этом не нужно». Я в недоумении. «За что?!

Ведь он герой гражданской войны? И у него одна нога?» Папа пожимает плечами. «Будем надеяться, - озабоченно говорит он, - что это ошибка и его скоро освободят». В школе тоже переполох. Ночью арестован наш математик Израиль Ефимович. Неужели он тоже враг, шпион или вредитель? Ведь у него трое детей и старая мать, он всегда бедно и неряшливо одет, но он блестящий учитель, он обожает математику и прививает нам любовь к ней, он нас любит, и мы отвечаем ему тем же. Два дня уроков по математике у нас нет. А потом уроки ведёт молодой Валентин Федорович Головня. Тот, который когда-то был с нами в пионерском лагере в селе Шмыгли. Но проходит немного времени - и Головня тоже арестован. Математику теперь нам преподает некто новый, ничем не запомнившийся. Арестована учительница истории в старших классах, большевик с 1917 года, арестованы и другие учителя, и даже заведующий нашей слесарной мастерской.

Арестованы отец нашей соученицы Иры, родители некоторых других наших товарищей. И у мамы в институте тоже идут аресты: взят прямо на работе наш хороший знакомый, преподаватель физики старик Страментов, кто-то еще, кого я не знаю. В одну из ночей после обыска арестован наш сосед по квартире чекист Ольшанский. Аресты происходят каждую ночь. По утрам я слышу, как тревожно шепчутся родители. В нашем классе появляются новые мальчики - их родители арестованы, и в Полтаве они живут у дальних родственников.

Теперь нередко можно видеть, как мимо нашего дома из тюрьмы ведут колонну арестованных, обычно человек сто-двести, иногда больше. Колонна медленно движется по Шевченковской и сворачивает на нашу Комсомольскую, потом направляется на спуск к Южному вокзалу. Все арестанты в черных ватниках, кое-кто в шинелях или пальто, все они в суконных шапках и с мешками через плечо, они идут покорно, ссутулившись и не глядя по сторонам, а по обеим сторонам колонны по тротуарам шагают конвоиры с овчарками на поводках. В необычной тишине улицы слышен неровный шаркающий звук сотен подошв.

Прохожие на улицах тревожно замирают, кто-то старается спрятаться в подъездах домов или в подворотнях, и во всем этом шествии ощущаются безнадежность и обреченность. Я смотрю на них, и во мне борются два чувства - я понимаю, что все они враги и арестованы по заслугам; но тогда, значит, и мой московский дядя, и дядя Ваня Писаревский, и школьные учителя, и другие наши знакомые - они что, тоже враги народа? Как это понять? Кто может мне это объяснить?..

…Впервые в моей душе посеяны семена сомнения в справедливости происходящего.

Этой же весной происходит полукомическое происшествие: к одной нашей соученице на весенние каникулы приезжает гость из самого Киева - двоюродный брат. Он наш сверстник, учится, как и мы, в 8 классе.

Само по себе событие заурядное, но наши девочки его очень ждут, волнуются и шепчутся. От них мы знаем, что он красавец и прекрасный пианист, а еще победитель республиканской шахматной олимпиады среди школьников старших классов, что-то еще в таком же духе. Судя по всему, нам до него далеко. Фамилия его Козлов - это всё, что о нём нам известно.

Но вот нас (нас пятеро) приглашают в гости - мы понимаем, что нам, жалким провинциалам из захудалого городка, почти деревни, покажут столичного гостя.

Мы пыжимся, но в душе робеем, ведь мы действительно провинциалы, куда денешься! - так оно и есть. Нас знакомят, и первое, что нас поражает, - Козлов в отглаженной белой сорочке с голубым, в косую полоску, галстуком, золотистые волосы красиво причесаны на косой пробор, у него смазливое, слегка надменное личико и на губах снисходительная гримаска.

А мы в простых рубашках с распахнутым воротом, причесаны мы аккуратно, но без затей, и галстуков ни у кого из нас вообще еще нет. Мы сидим за столом и пьем чай, а Козлов трещит без умолку. То и дело в его речи мелькает: «У нас на Крещатике…В Киево-Печерской лавре…На центральном стадионе…В филармонии… В театре оперетты…» Как бы мельком он небрежно бросает: «Когда это было? Точно не помню…кажется, после концерта Утесова…Или Вадима Козина… забыл. Или нет, Изабеллы Юрьевой». Наши девочки не просто слушают - они внимают с открытыми ртами, глаза их восхищенно горят. Ведь у нас нет ни стадиона, ни филармонии, ни театра оперетты, ничего…И все эти имена - Утесов, Изабелла Юрьева, Вадим Козин для нас фантастика, мечта, фамилии небожителей. Потом Козлов снисходительно обращается уже к нам: «А что, в вашем, пардон, местечке уже есть звуковое кино? И что, даже театр? Ха-ха, воображаю»!

Но мы молчим. Пока. Хотя нас он уже задел. И я (на пробу) задаю осторожный вопрос: «А у вас в Киеве «Тангейзер» идет?» Козлов смотрит на меня с недоумением. «Что? Тан-гейзер? Как это?» И тут мы ехидно и громко хохочем. Он не понимает причины нашего смеха и растерянно смотрит на нас. Пауза, минутная неловкость. И тут наша хозяйка громко возглашает: «Ребята, давайте лучше танцевать!» Мы поднимаемся из-за стола, и Козлов облегченно говорит: «Правильно! Давайте я вам сыграю «Сашу». Знаете?

Это я подобрал дома по слуху, сразу после концерта. Хотите?» - «Хотим!» Сейчас «Саша» - самая модная песенка. Он подходит к пианино, небрежно, как мэтр, усаживается, нажимает две-три клавиши и брезгливо произносит: «Хм, расстроено!» И играет. Играет он очень бурно и громко, страшно колотит и фальшивит, техника у него слабая и аккомпанемент плохой, приблизительный. Но видно, что старается блеснуть, поучить нас, недоумков из местечка. Ведь он столичная штучка, киевлянин.

Он играет и даже напевает, и мы видим, как наши девочки осторожно переглядываются.

Они уже всё поняли. Наконец, Козлов берет заключительный аккорд и торжествующе смотрит на нас. От усердия он даже вспотел. И теперь ждет кликов восторга. И тут мои товарищи говорят мне: «Ну, а теперь давай ты». Значит, теперь нужно постараться и мне. И я стараюсь. Техника у меня хорошая, беглая, я стараюсь подражать самому Симону Кагану, блистательному аккомпаниатору Изабеллы Юрьевой, и я вижу, как недоуменно вытягивается лицо у нашего гостя. Он молчит, он в нокдауне. Немигающе смотрит на меня и спрашивает: «А ты это как…по нотам?» И тут уже торжествуем все мы. «Нет, - отвечаю я. - Я тоже по слуху, но только с пластинки». Козлов заметно вянет. И тут подключается Марк [речь идет о Марке Иосифовиче Кривошееве - Т.Б.]. «Ты, говорят, чемпион по шахматам?» Козлов на минуту теряется, но тут же оправляется. «Да, нашего района, а что?» - «Давай сыграем. Покажешь мне пару новых ходов». - «А ты умеешь играть в шахматы? Это не шашки». - «Ходы я знаю. Так как? Или дрейфишь?» Козлов презрительно смеется. «Я? Дрейфлю? Несите шахматы!» Фигуры расставлены, мы столпились за спинами игроков. Игра начинается. Ровно через десять минут Марк делает ход конем и спокойно говорит: «Тебе мат». - «Где?» - «А вот». Марк смеется. Смеемся и мы. Мы рады. Козлов смотрит на доску, лицо его пунцовеет. «Ладно, - раздраженно говорит он. - Давай еще одну. Я просто зазевался». Фигуры снова на доске. Сейчас Козлов играет гораздо осмотрительней.

Проходит минут двадцать. «Ну? - спрашивает Марк. - Сдаешься? Или как?» - «Я? Чего ради!» - «Тогда лови мат!» Козлов обескуражен, он в растерянности. «Тогда еще одну!» Еще одна партия, и снова мат. Пауза. Это уже нокаут. Мы торжествуем. Но девочки ставят патефон, приглашают нас, и неловкость ситуации растворяется в шуме, смехе и общих разговорах. Вскоре столичный гость уезжает, а мы еще не раз вспоминаем «чемпиона по шахматам и прекрасного пианиста», смеемся и, шутя, называем нашу Полтаву местечком, где у нас, папуасов, выучившихся играть в шахматы, как ни странно, уже есть звуковое кино и даже свой театр.

А я уже учусь в музыкальной школе. Очередной урок сольфеджио. В классе ученики из разных классов школы - пианисты и скрипачи, певцы, даже из класса народных инструментов. Ведёт урок сольфеджио немного странный человек - Генрих Станиславович Лавровский. Ему лет сорок, а может быть и все шестьдесят, он всегда, и в жару, и в холод, ходит в одной одежде - это то ли ряса, то ли плащ.

У него худое горбоносое лицо с запавшими щеками, от фальшивого звука он морщится, будто надкусил лимон, и при этом закрывает уши руками. Учеников он не любит, обращается ко всем, независимо от возраста, на «вы» и, разговаривая, угрюмо смотрит в пол. Но у меня с ним отношения неплохие. Как-то, как обычно глядя в пол, он говорит мне: «У вас абсолютный слух и на мои уроки вы можете не ходить. В четверти у вас тоже пять». Пятерка у меня и годовая. Но вскоре Генриха

Станиславовича нет - он арестован и все шепчутся, будто он немец и оказался шпионом.

В эти же дни у меня большое огорчение - почти все мои товарищи готовятся к приёму в комсомол, они учат Устав, очень серьезно обсуждают решения каких-то пленумов и съездов, громко и с вызовом, чтобы слышали окружающие, экзаменуют друг друга по каким-то подробностям в речах товарищей Сталина и секретаря ЦК ВЛКСМ Косарева. Я и еще двое-трое наших ребят в этом не участвуем - в наших семьях есть репрессированные (у меня - в Москве дядя), то есть «враги народа», и, конечно, такие как мы, быть членами комсомола недостойны. Немного погодя мои товарищи уже настоящие комсомольцы, теперь у них бывают свои, так называемые «закрытые» собрания, на которых обсуждаются какие-то важные и очень секретные вопросы, о которых нам, «несоюзным» (это почти бранное и слегка презрительное слово), знать ни в коем случае нельзя. Иной раз случается, что в общем разговоре кто-то из них вдруг прижимает палец к губам: «Тс-сс! Здесь несоюзные!». Они понимающе переглядываются и умолкают. У них есть комсомольские билеты - серенькие книжицы, на первой страничке которых напечатан красными цифрами номер - но это величайшая тайна, этот номер никто не должен знать - враг не дремлет! - и, конечно, никому нельзя дать этот билет в руки даже на минуту. И даже смотреть на него можно только издали. Все это обидно вдвойне еще и потому, что среди этих высокопринципиальных и несгибаемых ленинцев находятся и лучшие мои приятели и товарищи.

Родители к этим моим переживаниям относятся вполне равнодушно и даже с легкой иронией. Но ничего мне не говорят, как видно, меня слегка опасаются. Такие идейные молодые дураки теперь не безопасны.

1938 год. В городе идет новый замечательный фильм «Если завтра война». В школе обязательный культпоход - фильм этот должны видеть всё. На уроке истории, который ведет наш директор, он, понижая голос, с доверительной усмешкой нам сообщает:

-Вообще-то фильм этот не для нас, улавливаете? Это, ребята, тонкая дипломатия, хитрость! Дескать, пускай немцы увидят, что у нас наготовлено, если только попробуют к нам сунуться! - Он довольно хмыкает: - Ох, ребята, не завидую я немцам!

Фильм, действительно, замечательный: поражают воображение неожиданно раздвигающиеся необозримые поля, замаскированные золотой колосящейся пшеницей, под которыми оказываются гигантские подземные аэродромы и танкодромы, тучи мгновенно взлетающих краснозвездных самолетов и победные воздушные бои, горящие и падающие жалкие немецкие аэропланы, могучие быстроходные танковые клинья, в панике бегущие и тысячами сдающиеся немецкие солдаты, перепуганные и жалкие гитлеровские генералы с перекошенными от страха лицами кретинов и - финал! В городах поверженной Германии восстание немецких рабочих. Да, нам есть, что показать Гитлеру! Мы ликуем. Дома я взахлеб рассказываю

об этой картине. Родители молчат, но на лице папы я вижу скептическую ухмылку. «Ну-ну, - говорит он.- Не хвалися на рать идучи, а хвалися с рати идучи…» Мне это досадно. Если бы, думаю я, он сам посмотрел этот фильм, то совсем иначе отнесся бы к моим словам.

А осенью на наших экранах появляется фильм «Большой вальс». Мы о нем уже слышали - он шел в Харькове, кто-то его уже видел и восторженно о нем рассказывает. А теперь он идет уже и у нас. Вначале его показывают в «Колизее», затем в «Рекорде». На балконе углового дома, в котором находится «Колизей», над входом красуется огромная фанерная реклама - приторно улыбающийся и смахивающий на сельского парикмахера Иоганн Штраус и чуть-чуть криволицая Карла Доннер. Сотворил эту чудо-рекламу наш лучший городской художник - Горобец. Фильм этот мы с товарищами смотрим три или четыре раза. О красавице Милице Корьюс, сыгравшей роль Карлы Доннер, у нас в городе говорят, что она - вернее, её мать, - родом из нашей Полтавы. Даже будто есть кто-то, кто лично её знал. Впрочем, приезжие из Киеве утверждают, что она из их города. И что это абсолютно точно. Впрочем, то же самое говорят харьковчане и москвичи.

Музыка Штрауса сейчас в моде, повсюду звучат мелодии его вальсов. И я тоже с увлечением их играю - в виде попурри - в той последовательности, в какой они следуют в картине. Попурри я сделал сам, присочинил начало и сделал переходные связки между вальсами. А в декабре в ДКА - Доме Красной армии - проходит ежегодная олимпиада творчества школьников города и области. Я участвую в ней. Вообще, участие в олимпиаде добровольное, никто меня не принуждал. Но уговорили меня выступить товарищи из класса, которым мое попурри очень нравится.

Зал довольно большой, он заполнен до отказа. Мое выступление во втором отделении, чему я рад - услышу, как и что играют мои соперники. Первой садится за рояль девчушка лет семи-восьми - на стул ей подкладывают подушечку. Она испуганно и торопливо играет «Турецкий марш» Моцарта, сбивается, начинает сначала, снова сбивается, громко всхлипывает и убегает. В зале смех и иронические аплодисменты. За нею выступает скрипач, и за ним снова пианист. Это уже посерьезней. Я его не знаю, но о нем слышал.

Это Котик Шамрай из 5-й школы, он на год моложе меня. Котик играет первую часть «Лунной сонаты» Бетховена. Играет он хорошо и чисто, всё у него правильно. Но всё идёт одним звуком, скучно и бесцветно. Котику бурно аплодируют - это, конечно, ребята из его школы. Потом выступает дуэт на двух мандолинах, за ними кто-то еще и теперь - за роялем снова девочка, она из 30-й школы. У неё прекрасная техника, она легко играет вальс Шопена, мне очень нравится. Но еще больше мне нравится сама девочка - зовут её Оксана.

У неё смуглое лицо с едва заметным монгольским разрезом глаз, густые черные, до плеч, волосы и стройная фигурка. За нею выступает кто-то еще и уже в конце - я. Ведущий объявляет мою программу - «Попурри из вальсов Иоганна Штрауса». Я сажусь за рояль. Я очень волнуюсь. Колотится сердце и вспотели ладони. Мельком я

бросаю взгляд в зал. Со сцены он кажется совсем маленьким, он многолико и выжидающе смотрит на меня, как какое-то ехидное и опасное существо. Попурри своё я хорошо отработал дома за своим пианино, но этот рояль мне не знаком. Это немного беспокоит. Ведь от клавиатуры, от её ответа на нажим пальцев, от мягкой упругости клавиш или, наоборот, от их жесткости или неподатливости зависит очень многое. Как и от чувствительности педалей.

В зале выжидающая тишина. Я усаживаюсь, беру вступительные аккорды и сразу становится легко - какой мягкий, бархатистый, ласкающий звук. Да, это совсем не то, что мой старый, жестко звучащий, нелюбимый «Беккер»! Играть на таком рояле - огромное удовольствие, радость. Всё то же, но звучит совсем иначе, намного лучше. Объемный, оркестровый звук, долгое бархатное послезвучие. О зале я почти забываю, я уже погрузился в музыку Штрауса. Главное - выдержать темпы и паузы, соблюдать нюансировку и не колотить, легко и органично переходить от мелодии к мелодии, ну и технически не «мазать». Всё идет гладко. Проходит минут девять-десять, и я у финиша - это завершающий моё попурри великий вальс «На голубом Дунае». Им я заканчиваю. В зале секундная тишина и аплодисменты. На следующий день жюри объявляет результаты: первое место среди пианистов у меня, второе у Оксаны. Котик Шамрай получил лишь грамоту и покидает зал расстроенный. Я, конечно, рад, но в душе понимаю, что первым местом обязан не столько исполнению моего попурри, сколько музыке Иоганна Штрауса.

В августе 1939 года с сестрой Аней мы едем на месяц в Феодосию. Там живут наши тетя Маня и дядя Яша. Тетя Маня преподает музыку в музшколе, а дядя Яша провизор, работает в аптеке. У них две комнаты - в одной живет мать дяди, в другой тетя Маня с дядей Яшей. Половину их комнаты занимают рояль, этажерка с нотами и книжный стеллаж. Дядя Яша толстый и веселый, он лежит на диване, я на рояле играю модный фокстрот «Сумерки» и танго «Утомленное солнце», песенки из кинофильма «Маленькая мама», а Аня поёт. Дядя Яша довольно смеется, ему нравится. Тетя Маня ничего этого не умеет.

Поёт Аня неважно, слух, как и голос, у неё так-себе, но петь она страшно любит, пританцовывает и своим исполнением очень довольна. Нам с нею снята комната с балконом на втором этаже в самом центре города. Она спит на балконе, а я в комнате под окном, выходящем на этот балкон, и перед сном мы еще долго переговариваемся. Дом наш стоит на набережной, море и пляж близко, ночью хорошо слышен шум прибоя, а между набережной и пляжем внизу проходит ведущая на вокзал железнодорожная колея и там часто грохочут поезда. Но спать нам это не мешает.

В один из этих дней тетя Маня везет нас с Аней к друзьям на дачу, где на двух роялях будет исполняться фортепианный концерт Рахманинова. Эту музыку я не знаю и услышу впервые. Мощный ликующий финал, от которого морозит спину и перехватывает дыхание, приводит меня в восторг. Ведь до сих пор об этом композиторе я почти ничего не знаю, мне знакомы лишь его две-три прелюдии, одну из них - cis-moll - играю я и сам.

Вообще, музыка Рахманинова в СССР официально не запрещена, но не очень поощряется и как бы в полузапрете - известно, что он эмигрант, а это попахивает белогвардейщиной. Концерт Рахманинова меня вдохновляет - я наивно решаю, что тоже могу сочинить концерт для рояля оркестром. И в тот же вечер сочиняю несколько тем. На следующий день одну из них я играю у тети Мани. То, что это мое сочинение, я не говорю - стесняюсь. Тетя Маня удивленно спрашивает: «Что ты играешь?» - «Где-то услышал», - отвечаю я. И она говорит: «Неплохая музыка». Я рад, но истину не открываю.

В Полтаву я привожу подарки: маме - красивую шкатулку из цветных ракушек, а папе чемодан папирос - в Полтаве их давно нет, и папа курит махорку и базарный самосад. Он покупает папиросные гильзы и специальные палочки - ими в гильзы набивают табак и получаются папиросы. Этим занимаюсь обычно я.

Кончается лето 1939 года. В мире тревожно, пахнет войной. Неожиданно в Москву приезжает гитлеровский министр Риббентроп и в Кремле 23 августа подписывается договор о ненападении с нашим смертельным врагом - фашистской Германией. Это - как гром среди ясного неба. Тотчас из радиопередач, газет, песен и маршей исчезают слова «фашисты», «гитлеровцы» и им подобные. Теперь даже произносить эти слова нельзя.. Да и сам Гитлер, оказывается, не так уж плох, а во всем виноваты западные «плутократы» - Англия и Франция.

Чуть позже, 28-го августа в Москве подписывается и второй пакт - о дружбе. Теперь Германия наш друг. И, значит, войны не будет. Это очень хорошо. Хотя многое непонятно. И писатель Лион Фейхтвангер, антифашист, по роману которого «Семья Оппенгейм» недавно прошел замечательный антифашистский фильм и книги которого стоят у нас на полках, теперь не в чести. А 1-го сентября Германия нападает на Польшу, Варшава ими взята, и 17-го того же месяца в поверженную Польшу вступает наша победоносная Красная армия.

Сразу же добычу делят между собой СССР и Германия: западная часть Польши отходит к Германии, восточная (Галиция со Львовом) присоединяется к СССР (Украине). Вскоре из Польши возвращаются торжествующие победители - отцы наших товарищей. Оттуда они привозят военные трофеи: невиданные вещи - замечательную обувь, свитера, кофточки, белье, дорогие шерстяные и шелковые отрезы на костюмы и платья - то, чего мы никогда и в глаза не видели. Отец нашей соученицы, усатый, похожий на маршала Буденного, весело рассказывает о победоносных сражениях с пытающейся сопротивляться жалкой польской армией, в которых участвовал его полк.

Другого мы и не ожидали - ясное дело, наша Красная армии непобедима. Мы ликуем. И горячо обсуждаем кинохронику, которая запечатлела совместный парад советских и немецких войск-победителей во Львове: на трибуне рядом с щеголеватыми и надменными немецкими офицерами стоят наши улыбающиеся командиры в мятых гимнастерках и приплюснутых фуражках со звездочкой. А в газетах опубликована и горячо обсуждается в школе историческая речь товарища

Молотова, в которой он с презрением характеризует военное поражение Польши, как «закономерный акт распада уродливого порождения Версальского договора».

Но не тут-то было! Англия и Франция объявляют войну Германии и, значит, Вторая мировая война началась. Хотя СССР пока в ней не участвует. Теперь в «Правде» и «Известиях» дословно перепечатываются хвастливые победные сводки германского командования - словно речь идет об операциях нашей Красной армии: «наши войска захватили…наши танки вторглись…наша авиация бомбила…» и т.п.. Наши??? Это изрядно коробит, что-то в этом есть неприятное, заискивающее, будто мы примазываемся к их победам…

Радиоприемники сдавать приказа пока еще нет, и из передач английского радио до нас доходят слухи о преследованиях евреев в немецкой зоне оккупированной Польши. И всё чаще слышится жуткое средневековое слово «гетто». Новости эти приносят и беженцы - польские евреи, спасающиеся от немецкого нашествия. Сейчас в городе их немало, даже целые многочисленные семьи. И в нашей школе появляются мальчики нашего возраста. Русский язык они почти не знают, но мало-помалу мы находим с ними общий язык.

И впервые слышим от них о совсем другой, непонятной жизни - западной эстраде и блистательных джаз-оркестрах, о переполненных всевозможными товарами магазинах, об официально существующих публичных домах, где все они уже не раз побывали; от них мы узнаем о бомбежках и пожарах, об убитых и раненых, о колоннах военнопленных, об еврейских гетто в немецкой зоне оккупации. А их удивляет всё у нас - наши тесные, перенаселенные коммунальные квартиры, полупустые магазины, наша бедная одежда и латаная обувь, наш убогий быт… Но в городе они надолго не задерживаются - движутся дальше, на юг, в Среднюю Азию, еще куда-то.

Приходит 30 ноября. Мороз, и с ночи валит снег. В квартире холодно. Восемь утра, но радио всё еще молчит и только передает марши, песни, марши…Что это значит? Еще минута, и диктор мрачно оповещает о провокациях финской военщины. Конечно, обнаглевших финнов нужно проучить. Все взволнованы и уверены, что маленькая задиристая Финляндия долго сопротивляться нашей могучей Красной армии не сможет.

Впрочем, о том, что назревают какие-то события, мы догадываемся уже около месяца, - в очередной раз наша школа превращена в госпиталь, и мы учимся на третьей смене до десяти вечера в школе на Подоле. А окна первого этажа нашей 10-й школы закрашены белой краской, во дворе под снегом горой лежат парты. Вскоре привозят первых раненых с Карельского перешейка и «линии Маннергейма». В военных сообщениях главного командования воинственные победные реляции первых дней незаметно сменяются очень короткими и вялыми фронтовыми сводками, из которых можно понять лишь то, что наступление наших войск затормозилось, и белофинны почему-то еще сопротивляются. И уже повсюду идут шепотки и слухи о финских снайперах-«кукушках», о сотнях обмороженных и убитых.

Морозы крепнут. В доме холодно и ко всему отключено электричество. И тут вспоминают о керосиновой лампе, еще пылящейся в чулане. Её извлекают на свет Божий, чистят и подвешивают на шнурах над столом в гостиной. Очень удачно, что уцелело огромное ламповое стекло - теперь таких не бывает. Лампа очень красивая и нарядная, она дает яркий свет, но пожирает очень много керосина. А с ним не так просто. В одни руки опускают не больше трех литров, а нам этого мало…

Но вот и февраль 1940-го. Наши войска наконец-то прорывают «линию Маннергейма» и берут Выборг. Злосчастная трехмесячная Зимняя война кончается поражением крохотной Финляндии. Но даже приведенные в газетах и бесспорно заниженные официальные цифры потерь Красной армии огромны - свыше 70 тысяч убитых и вчетверо больше раненых. Это цена победы нашей 150-миллионной страны над трехмиллионной Финляндией. Приезжие военные рассказывают, что финнов в занятых городах нет, все они бежали. Ко всему СССР исключают из Лиги Наций. Многие считают, что это вполне заслуженно, но вслух говорить об этом ни в коем случае нельзя. И что наша Красная армия оказалась слабой. А это очень страшно в преддверии войны с Германией, которая, несмотря на этот странный «пакт о дружбе», по мнению папы, неизбежна и близка.

В эти дни я хожу в группу радистов-операторов. Ведет её бывший полярник Тарасенко. Мы осваиваем технику приёма и передачи текстов и цифр на ключе с помощью азбуки Морзе, через месяц сдаем экзамен и получаем удостоверения радистов операторов. Это очень увлекательно.

При Дворце пионеров работает любительская коротковолновая студия с настоящим радиопередатчиком - и как-то мне со старшим товарищем разрешают поработать на нём. На всю ночь мы запираемся в студии, надеваем наушники, выходим в эфир и на ключе непрерывно выстукиваем сигнал «внимание!» - это три точки и тире - и снова, и снова так, много-много раз. Затем многократно выдаем в эфир позывные нашего передатчика и тут же переключаемся на приём. И внимательно вслушиваемся в колышущиеся, накатывающиеся, как морской прибой, волны и шорохи невообразимого, немыслимого пространства. Где-то далеко слышится тонкий перекликающийся писк морзянок, набегают и откатываются волны несущих частот и кажется, будто вся наша радио-рубка бесшумно куда-то плывет, мягко покачиваясь на волнах радио-эфира.

И так до той минуты, пока наш вызов не привлечет внимания какого-нибудь радиолюбителя, как и мы, шарящего в радиоэфире. У него, как и у нас есть таблицы международного радио-кода - это обозначенные тремя латинскими буквами целые стандартные фразы - приветствия и слова вежливости, вопросы: кто вы? ваше имя? из какой вы страны? сколько вам лет? И т.д. Мы задаем вопросы ему, а он нам. Потом мы прощаемся - опять же этим условным кодом, просим подтвердить связь, он подтверждает, - и снова шарим в эфире.

А через какое-то время на адрес Дворца пионеров прибывает особая художественная открытка - в обиходе «кюэсэлька» («QSL») - с позывными

передатчика нашего ночного собеседника. А мы отправляем ему (через дирекцию Дворца) свою. Стены нашей радиорубки под потолок оклеены десятками разных, в их числе очень красивых «кюэсэлек». Ночь проходит незаметно, спать даже и не хотелось. Мы пережили удивительное чувство единства мира, ощущение власти человека над немыслимым, невообразимым пространством.

Весна, 1940-й год, близятся последние экзамены. А что потом? В мире неспокойно. В напряженной атмосфере окружающей жизни уже ощущается предгрозовое дыхание близкой войны.

В зеркале памяти. Часть 2. Полтава: 1939-1941

Сейчас конец августа 1939 года, я еще школьник, и с осени буду учиться в 10-м классе.

Вторая Мировая война с 1 сентября уже началась, но СССР в ней пока не участвует. Сталин затаился и выжидает, в чью сторону качнутся весы. Вот тогда он и примет решение, какую принять сторону, - тут важно не зазеваться, чтобы не упустить своего куска добычи. А пока суд да дело, наши газеты с лакейской угодливостью дословно перепечатывают и завистливо комментируют хвастливые победные сводки германского командования. Судя по этим сводкам и комментариям, дни Англии сочтены.

Радиоприемники сдавать приказа еще нет, и из передач английского и закарпатского радио мы вечерами слушаем леденящие новости о жутких бомбежках, пожарах и многотысячных жертвах Лондона, о преследованиях евреев во Франции и в немецкой зоне оккупированной Польши, всё чаще слышится жутковатое средневековое слово «гетто».

Но наши газеты об этом молчат, будто набрали в рот воды. Друзей обижать нельзя!

Но вот приходит 30 ноября. Сильный мороз, с ночи валит снег. В квартире холодно. Восемь утра, и диктор мрачно оповещает нас о провокациях финской военщины и о начавшейся войне. Конечно, обнаглевших финнов нужно проучить. Все взволнованы и уверены, что маленькая Финляндия долго сопротивляться нашей могучей Красной армии не сможет. В очередной раз наша 10-я школа превращена в госпиталь, и мы учимся на третьей смене - с 4-х дня до 10 вечера в 12-й школе, которая на Подоле. Окна первого школы закрашены белой краской, во дворе под снегом лежат парты и в палатах лежат первые раненые с Карельского перешейка и «линии Маннергейма».

Но вскоре в военных сводках нашего Главного командования воинственные победные реляции первых дней сменяются короткими и очень неопределенными

сообщениями. Из них уже ясно одно - наступление наших войск затормозилось, а белофинны почему-то еще сопротивляются.

Проходит зима, и в феврале 1940-го наши войска наконец-то прорывают злосчастную «линию Маннергейма» и берут город Выборг. Трехмесячная Зимняя война кончается поражением маленькой, 3-миллионной Финляндии. Но даже официальные, опубликованные в газетах, цифры потерь Красной армии огромны: 65 тысяч убитых, 265 тысяч раненых и обмороженных, 5,5 тысяч попавших к финнам в плен. Это цена победы огромной 150-миллионной страны над крохотной гордой Финляндией. Тут же СССР, как агрессора и друга нацистской Германии, исключают из Лиги Наций (прообраза будущей ООН). Всем ясно, что наша славная героическая Красная армия оказалась позорно слабой.

Но вот уже лето 1940 года, август. Мы уже не школьники, но будущее наше темно и неясно. Многое, происходящее вокруг нас в стране и в мире, оценить правильно мы еще не можем. Сбивает нас с толку чехарда следующих одно за другим непонятных международных и внутренних событий. В Европе бушует война, немцы бомбят и обстреливают ракетами Лондон, а к СССР неожиданно и как-то очень поспешно присоединяются все три балтийские республики - Литва, Латвия и Эстония. Германия всё еще наш друг, но мало-помалу начинает меняться тональность газетных сообщений - исчезли недавние восторги о «вечной дружбе наших народов, скрепленной обоюдно пролитой кровью за общее дело». Это слова Молотова, но где и когда? - никто не может объяснить. И всё чаще слышны тихие и озабоченные разговоры взрослых о неизбежной войне с Германией.

Весна 1941-го. Я уже студент 1-го курса нашего строительного института. Сегодня 22 июня, воскресенье. Встаю я пораньше - завтра последний зачет по геодезии, принимает строгий доцент Томашевский. Но странно - зачет мы будем сдавать в Институтской роще, а в нашем главном корпусе уже развернут госпиталь. Почему? Будет война? С кем? Никто ничего не понимает.

Я сижу за столом, за моей спиной на столике радиоприемник. Как обычно, он настроен на воскресную музыкальную передачу из Германии. По утрам это Иоганн Штраус, вальсы, марши и польки. Но что это? Сегодня музыки нет, только какие-то взволнованные, перебивающие друг друга возбужденные немецкие голоса, шум, треск, крики, какой-то непонятный шум. Я слышу лающие выкрики на фоне грохота бомбовых разрывов, сплошной треск автоматной стрельбы, густой рёв моторов. Захлебывающийся фальцет кричит сквозь сплошной грохот взрывов: «Русская казарма уже взята…Наступление идет успешно…Русские бегут…» Я взволнованно вращаю ручку приемника, это другие немецкие радиостанции, но и здесь то же…А вот радио Берлина. Но и здесь марши, воинственные солдатские песни, грохот марширующих кованых сапог, возбужденные лающие голоса и пронзительные короткие команды. Что это?! А что передает Москва? Только что окончилась «Пионерская зорька», диктор читает последние известия о достижениях передовиков труда. Ничего тревожащего, всё, как обычно. Но вдруг минутная пауза…и начинается музыка. Песни

и марши следуют друг за другом, без пауз и без дикторских объявлений. Это очень странно. Ощущается, что должно что-то последовать, мы уже имеем опыт. Такое бывало перед каждым важным сообщением: перед зимней войной с Финляндией, перед походом в Польшу в сентябре 39-го, перед присоединением Буковины к СССР прошлым летом... Музыка все длится и длится, ей нет конца…И вдруг она резко обрывается, будто кто-то выдергивает вилку из розетки. В динамике наступает напряженно дышащая пустота. На часах ровно одиннадцать. Динамик молчит, лишь шуршат накатывающиеся, как морской прибой, несущие частоты радиоэфира. Проходит еще минута…две…три…И вдруг в напряженной тишине тревожно вызванивают позывные Москвы. Пауза, и снова позывные. Они повторяются, повторяются, теперь в их привычных звуках уже слышится что-то зловещее. Проходит полчаса, волнение нарастает, а позывные длятся. И внезапно обрываются. И тишина. Снова пауза, кажущаяся вечностью. Взволнованно колотится сердце. В динамике легкий щелчок…И в напряженной тишине сумрачно гремит бас Левитана, от первых слов которого по спине пробегает озноб.

- Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Слушайте заявление советского правительства…

Ровно двенадцать. У микрофона Молотов. Его сухой скрипучий голос заметно дрожит.

Это война. Прошло меньше недели, город затемнен. На стенах домов расклеены приказы о мобилизации и светомаскировке окон. На оконные стекла приказано клеить перекрестные бумажные ленты - считается, что они защитят от осколков стекла при бомбежке. В дворах в земле роют бомбоубежища - «щели». Какие-то уполномоченные с красными повязками на рукаве ходят по дворам и измеряют рулеткой ширину и глубину отрытых ям. Предполагается, что в случае бомбежки они будут спасать людей. Всем понятно, что это смехотворно, но говорить об этом нельзя. Если глубина или ширина щели меньше указанных в приказе, составляется протокол и дается краткий срок для исправления. Или взимается штраф.

В нашей квартире на Комсомольской, 44/46 четыре окна и еще балконная дверь, замаскировать их нелегко. Всё, что есть в доме, идет в ход: одеяла, плащи, старые пальто, разные тряпки, листы бумаги. Я стою на табуретке и прибиваю всё это гвоздями, а мама и папа мне подают. Все нервничают и ссорятся. Нужно дождаться темноты и с улицы проверить качество нашей светомаскировки. Ведь после десяти вечера по улицам ходят военные патрули и проверяют затемнение окон. Если где-то у кого-то пробивается лучик, патрули свистят, находят виновных и грозят арестом. А после десяти вечера на улицах у прохожих проверяют ночные пропуска (или студенческие билеты).

Радиоприемники сдавать приказа пока нет, это будет лишь через два дня, 24 и 25-го, а пока вечерами мы слушаем немецкое из Берлина и иногда, если удается, Закарпатское радио из Ужгорода. Их читают на языке русинов, он похож на русский и всё понятно. А наши сводки очень скупы, узнать из них, что происходит на фронте,

невозможно. В них основная туманная формулировка - «до подхода регулярных войск наши войска отбивают ожесточенные атаки врага, который несет тяжелые потери». И всё. Но и в них уже появились пресловутые «направления» - Ровенское, Брестское, Полоцкое…- похоже на то, что наши войска отступают?.. А вот из немецкого радио мы узнаем намного больше, но услышанному верить не хочется. Себя обманывая, мы убеждаем себя, что это пропаганда. Хотя даже симпатизирующие СССР русины сообщают, что Красная армия бежит и десятками тысяч сдается в плен.

Но вот приемники тоже уже сданы, и мы живем в полном информационном вакууме. Хотя даже из наших невразумительных сводок мы научились многое выуживать. Ничего утешительного в них нет. А в наших госпиталях уже появляются первые раненые. От них мы слышим много такого, что отнюдь не вселяет оптимизма. Знакомый врач папы работает в госпитале и по секрету передает рассказы многих раненых - о неорганизованном отступлении, вернее, паническом бегстве, о тучах немецких самолетов и танковых клиньях, о целых наших дивизиях и армиях, попавших в окружение и плен.

26 июня нас, студентов, собирают в институтском дворе и делят на отряды по 15-20 человек. И следующим утром рабочими поездами мы разъезжаемся по разным колхозам и совхозам области. Отряд, в который включен я, назначен в совхоз «Голобородьковский» на уборку урожая. Какого урожая?! Всё непонятно - сейчас только конец июня, о какой уборочной может идти речь?! Да и вообще - лето дождливое, хлеба еще не дозрели.

От железнодорожной станции по грунтовой дороге мы шагаем еще с десяток километров. Жарко, в воздухе висит желтая пыль. Вечереет. А вот и совхоз. Старый одноэтажный, некогда белый, домик, электричества нет, вода в колодце, а купанье в реке. Это бывшее рабочее общежитие. В полутемных комнатах с закопченными стенами стоят железные кровати с кое-как набитыми соломой грязными тюфяками и такими же засаленными и грязными суконными одеялами. Нет простыней, а подушек и вообще нет. На ужин нам выдают по кувшину молока и крынке мёда. Хлеба нет. Это всё. А пока спать! Нам не до постельного белья, лишь бы спать, спать.

Уже с раннего утра жара. Мы работаем с пяти до двенадцати дня, потом перерыв на обед. В поле привозят в ведрах полуостывшую мучную баланду, и в тени под телегами мы проваливаемся в сон на два часа. А затем снова работа - до шести вечера. Работаем мы у молотилок - идет уборка недозрелого зеленого ячменя. Зачем нужно его убирать, кому нужен такой ячмень? Ответа нет. Оглушающий стрекот молотилок, от них струится жар и удушливая вонь разогретого мазута и солярки, в воздухе висит туман из мельчайшей соломенной сечки, льется градом пот и всё время хочется пить, но воды нет. Солома сбегает по транспортеру, мы вилами хватаем её и подаем рабочим, формирующим стога.

Прошли всего неполные три недели, но сводки Верховного командования одна хуже другой. В них называются все новые направления, на которых идут бои, - и все

догадываются, что если в сводке названо направление, то город уже сдан. Сданы Минск и Рига, Псков, Бердичев, Житомир…Фронт всё ближе и ближе…

А 3 июля нас неожиданно отправляют домой, в Полтаву. Как выясняется, убранный нами ячмень для хранения непригоден, и стоящие в поле стога сжигают.

Теперь ежедневно немцы бомбят наш военный аэродром и район Киевского вокзала. Точно в девять вечера - можно проверять часы! - над городом появляются и как-то лениво плывут в высоте, одно за другим, звенья «Юнкерсов». Летят они спокойно, уверенные в своей безопасности, по-хозяйски и ничего не опасаясь. По ним усердно палят зенитки. Но всё зря. Как видно, на нужную высоту снаряды наших зениток не долетают. И почти сразу же слышатся глухие бомбовые разрывы. В течение двух суток небо над городом остается черно-багровым до самого зенита - это горит маслозавод. А наших самолетов мы уже давно не видели. Правда, говорят люди, несколько дней назад нашим доблестным зенитчикам все же удалось сбить самолет. Он оказался нашим подбитым фанерным «ястребком», идущим на аварийную посадку.

По городу бродят слухи, один фантастичнее другого. Передают, что кто-то знающий по большому секрету сказал, будто днями начнется мощное контрнаступление наших войск, и тут-то немцы покатятся назад. Кто-то со слепой верой истолковывает пророчества Иоанна Златоуста - Апокалипсиса о железных птицах и четырех всадниках, другие ходят к гадалкам и каким-то невесть откуда появившимися пророкам - все живут с надеждой, ждут избавления от неопределенности, стремительно надвигающегося и пугающего будущего, ищут избавления от страха. Настроение у всех подавленное.

А сводки «Совинформбюро» всё хуже и хуже.

В один из дней нас, группу студентов, по распоряжению райкома комсомола направляют на Южный вокзал в распоряжение его начальника. Что будем там делать - скажут на месте. На вокзал мы отправляемся пешком, и уже на мосту через Ворсклу слышим доносящийся со стороны вокзала странный глухой шум. Что это? Приблизившись, мы застываем в недоумении: перед нами воистину сюрреалистическая картина: на огромной привокзальной площади от моста и до вокзального здания, по всей её ширине на земле, на разостланных одеялах, просто на камнях и на асфальте шевелится и шумит многотысячная человеческая масса. Тысячи, десятки тысяч людей с детьми, каким-то скарбом, узлами, мешками, корзинами и чемоданами тесно заполняют всю площадь, лежат и сидят на вытоптанной траве и на проезжей части, в сквере на цветочных клумбах.

Над всей площадью висит сплошной гудящий говор тысяч голосов, слышатся отдельные выкрики, детский плач. Впереди у водонапорной башни тройным кольцом вьется многосотеннная очередь к водопроводному крану. С чайниками, кастрюлями, банками и разнобразной посудой молча и покорно стоят бледные женшины, старики и дети. Дверь единственного вокзального туалета крест-на-крест забита толстыми досками, оттуда волнами исходит тяжелая едкая вонь разложившейся мочи и гниющих

экскрементов. Вонью экскрементов несет отовсюду - ведь на площади тысячи людей, а никаких туалетов нет.

Мы с трудом пробираемся до вокзального здания. Гулко гудящий вокзальный зал тоже сплошь забит. Чтобы пройти к кабинету начальника вокзала приходится переступать через мешки, чемоданы, узлы, прямо через лежащих на полу людей. Люди сидят и тесно лежат на грязном полу, всюду вонь мочи, заходится в вопле младенец, кричат и переругиваются женщины, плачут дети.

Люди всюду - в проходах, на подоконниках, на перроне. И всюду та же густая, тяжелая, душная вонь немытых тел, пота, экскрементов, мочи, рвоты. Душно, дышать нечем. Под мостом на песчаном берегу Ворсклы расположился цыганский табор, там стоят цепью повозки и распряженные лошади пасутся у воды, дымят костры и бегают босые цыганчата, в толпе на площади то тут, то там мелькают цыганки в ярких цветных юбках и платках.

Бледный, с измученным серым лицом начальник вокзала в измятой синей фуражке делит нас на тройки, выдает красные повязки и поручает - сегодня же, до конца дня составить списки женщин с детьми в возрасте только до десяти лет! Только! Для них в депо готовится состав из старых товарных вагонов. Вагоны, правда, старые, давно списанные, но сейчас их кое-как приводят в порядок. «Куда отправят этот состав? И когда?» - спрашиваем мы. Ведь эти вопросы будут задавать и нам. Начальник хмуро смотрит на нас. «На Харьков, - говорит он. - До Харькова, надеюсь, вагоны эти дотянут.

А там пусть начальство решает, что делать дальше. - Он угрюмо молчит. - Завтра утром этот состав мы отправим. Много случаев дизентерии, и много вшивых, а воды нет. Да и еды ведь тоже нет никакой, а тут дети »…До вечера мы ходим среди этой шумящей, рыдающей, шевелящейся, растерянной людской массы и составляем списки. Слух о том, что эвакуации подлежат женщины с детьми только до десяти лет, мгновенно облетает всех.

Рыдания, истерики, вопли, плачут дети - ведь здесь немало семей, в которых двое-трое детей, и некоторым из них больше десяти лет. Их что, их нужно оставлять? А что с ними будет? Мы стоим в окружении отчаявшихся, кричащих и рыдающих женщин с измученными худыми лицами, у всех в руках какие-то бумаги, метрики, все они одновременно вопят и протягивают нам документы. Большинство из них - семьи военных из западных округов, у многих больные маленькие дети, но старшие тоже нуждаются в лечении, оставлять их нельзя никак…Мы в растерянности. И, конечно, вносим в списки всех детей.

Пусть решает начальство! Видя это, женщины немного успокаиваются - им кажется, что всё уладилось и завтра они уедут всей семьей. Куда? На Харьков. А потом что? Мы разводим руками - этого мы сами не знаем. Наше дело - выдать им регистрационные номера, которые им понадобятся завтра, при посадке в вагоны.....Через два дня мы узнаем, что списки наши оказались бесполезными.

Состав, поданный из депо под посадку, штурмом взят озверевшей толпой. В вагоны проникли только самые сильные и ловкие.

Жизнь изменила окраску. Теперь всё происходит на одном, основном, единственном фоне, - тревожном фоне войны. И самое главное сейчас - это сводки «Совинформбюро», трижды в день, утренние, дневные и вечерние. Из которых понять, что происходит на фронте, невозможно. Хотя ясно, что дела идут очень плохо.

Город еще живет по инерции привычной мирной жизни, но из подсознания людей уже ни на миг не уходит тревожное ощущение беды, близящейся и неотвратимой. Все боятся даже думать, что левобережную Украину - а, значит, и нашу Полтаву, - нашим войскам не удержать. И тогда здесь будут немцы?! Как? Этого не может быть! Теперь всё зависит от обороны Киева. Его не сдадут! Это последняя - непрочная, неуверенная и единственная - надежда на то, что немцам дальше не продвинуться. В газетах Киев гордо называют «твердыней на Днепре» - ведь его обороной командует сам маршал Буденный, который на городском митинге (его транслируют по радио) кричит и клянется, что Киев «был и останется советским!». Мы ему верим - из школьной программы и кинофильмов мы знаем, что он герой гражданской войны, его конница успешно громила белополяков и золотопогонников Деникина. Мы и не подозреваем, что полководческие «таланты» и знания Буденного - это позавчерашний день военной науки…

А тем временем в сводках «Совинформбюро» печатаются неясные сообщения о тяжелых оборонительных боях Красной армии и огромных потерях немцев. Судя по ним, немцы уже вот-вот останутся без единого солдата, без танков и самолетов…

И при всем этом - полное молчание властей, ни единого слова предупреждения населению, остающемуся на оккупированной территории, хотя уже есть трагический опыт поверженных Польши, Франции и других стран Европы, - это гестапо, концлагеря, массовые расстрелы евреев, лагеря военнопленных, неизбежный голод. И при этом никаких мер содействия и помощи желающим уехать, никаких поездов для эвакуации, даже раздобыть в горисполкоме спасительные «эваколисты» людям удается с трудом.

Мы обедаем, когда в прихожей раздаются два звонка - это к нам. Я открываю дверь - на площадке стоят два деревенских парня. Они вежливо здороваются и спрашивают папу. Папа выходит к ним, узнает, улыбается и приглашает в комнату. Парни мнутся, смущаются, чувствуют себя они явно неловко. По их лицам и наползающим на кисти рук длинным рукавам деревенских пиджаков видно, что в городе они недавно и в городских квартирах вряд ли бывали. Здесь всё для них непривычно. Камин, по-видимому, видят они впервые и вообще не понимают, что это такое; они с удивлением рассматривают фигурные потолочные карнизы и книжный стеллаж, раскрытое пианино с нотами, посуду на столе; шмыгая сырыми носами, они вытирают их тыльной стороной ладони или рукавом пиджака. «Это мои студенты», - представляет их папа.

Он приглашает их к столу, но парни благодарят и вежливо отказываются. «Ми прийшли ненадовго, хочемо з вами тільки побалакати», - говорят они папе. Обед закончен. Папа с парнями переходят в другую комнату и закрывают дверь. О чем они говорят, нам не слышно. Проходит полчаса. Но вот парни выходят и прощаются. Папа недоуменно усмехается. «Интересный разговор, - говорит он.- Оказывается, эти мои парни - члены ОУН, запрещенной организации украинских националистов. Они мне доверяют и знают, что я на них в НКВД не донесу. Убеждали нас оставаться, не эвакуироваться. Говорят, что после большевиков, когда будет создано независимое и свободное украинское государство, такие люди, как я, будут нужны».

…о том, что независимая Украина немцам не нужна, и менее, чем через год, они будут арестованы и расстреляны, знать этим парням не дано…

Мрачные, тревожные дни и беспросветные черные августовские ночи, опустевший город, темные, будто нежилые дома и пустынные ночные улицы, частые воздушные тревоги и завывание сирен, тревожно шарящие по черному небу бледные лучи прожекторов, оглушительная пальба зениток и колючие бело-красные звезды зенитных разрывов в небе, гул самолетов и гулкое эхо шагов военных патрулей на безлюдных улицах.

Дни, наполненные пугающей неизвестностью, уже осознанное понимание близящегося слома всей жизни - ведь нужно всё бросить, просто выйти и захлопнуть за собою дверь. И уйти. Просто уйти. Дверь можно не запирать - всё равно вслед за тобой в дом торопливо войдут какие-то люди, они жадно будут рыться, отыщут и поспешно унесут всё, что только смогут найти и ухватить, всё, что, опережая других, им удастся высмотреть и поскорее взять или отнять у других, тоже рыщущих, увезти нашу, не Бог весть какую роскошную, мебель, мое пианино, мои ноты и мои записи, наши книги и граммофонные пластинки, мою коллекцию марок, вещи, посуду и белье, картины на стенах и люстры. Кто-то испуганно рассказывает, что иной раз западный ветер уже доносит глухой отдаленный гул артиллерийской канонады. Мы верим и не верим - ведь бои идут за Киев, а это от нас далеко?.. Но где сейчас в действительности фронт - не знает никто.

…Никто еще не знает, что немецкие танковые клинья обошли укрепрайон Киева и их передовые части находятся уже совсем близко от Полтавы. И до вступления их в город остаются считанные дни. И что все партийные, советские и военные власти города и области уже давно успели покинуть город со своими семьями.

Папина фармшкола эвакуации не подлежит, и папа занят ликвидационными мероприятиями. С утра и до ночи он озабочен и мечется - то он в исполкоме или горкоме партии, то в военкомате или госбанке. Нужно рассчитаться с преподавателями и техперсоналом, выдать стипендии и официальные справки учащимся, сдать по описи все материальные ценности - лабораторную посуду и технику, микроскопы, химикалии да еще кассу и само здание (кому?), отчитаться (перед кем ?) за истраченные деньги на ремонт. И исполнить еще множество всяких дел.

А в институте полным ходом идет подготовка к эвакуации. Всем руководит, во всё вникает и, никогда не повышая голоса и не грубя, очень спокойно и уверенно разрешает все конфликты и недоразумения наш чудесный директор, Лев Михайлович Даманский. Ему помогают ведущие преподаватели - Г. К. Хилобок, В. М. Бродецкий, Д. Н. Топчий, Д. Н. Филиппов, А. П. Марченко, Н. П. Кончуков, моя мама и мн.другие. Уже известен конечный пункт - это областной город Уральск, Западно-Казахстанская область.

Сформированы и уже ушли первые товарные вагоны с библиотекой, документами, лабораторным оборудованием, мебелью и разным инвентарем, его сопровождает группа студентов старших курсов и несколько молодых преподавателей. Идет подготовка списков преподавателей, их семей и части студентов, которые будут отправлены во вторую очередь. Это очень сложно. В Полтаве нет свободного и пригодного подвижного состава. Но Даманский с кем-то договаривается, что до Харькова нам старый вагон дадут, а там институту выделят четырехосный товарный вагон.

Наступает утро 12 сентября. Около семи утра, еще полностью не рассвело. Под балконом нетерпеливо сигналит институтская полуторка. Всё. Прощай Полтава, прощай вся прежняя жизнь! Что нас ждет - ведает лишь один Бог…

Ночью прошел дождь, пустынные утренние улицы лежат в сырой туманной дымке. Тишина. Влажная листва деревьев холодно блестит, мелькает сквозь зелень каштанов яркая цветная черепица крыши нашего Краеведческого музея при повороте на спуск к вокзалу, угрюмо провожают нас военные регулировщики в серых плащах с капюшонами. Окна всех домов в белых бумажных крестах…Привокзальная площадь, как и раньше, сплошь забита людьми. Тысячи людей расположились и на узком перроне в надежде на то, что всё же их как-то отправят.

Наш вагон одиноко стоит на самом дальнем пути за паровозным депо. Это довольно далеко. Тащат свои вещи пожилые преподаватели, их жены и дети, все раздражены и переругиваются, кто-то отстает, другой остановился перевести дух, их подгоняют криками. «Скорее, скорее, ждать нас не будут!»

Но вот все на месте. Раздраженный, измученный и охрипший от крика распорядитель посадки с повязкой на рукаве и в измятой железнодорожной фуражке не без труда и строго по списку заталкивает сотрудников института в грязный дачный вагон с дверью в центре. Люди рвутся войти поскорее и захватить место, толпятся, отпихивают друг друга, кричат и плачут.

Ступеньки узкие и очень крутые, многие, особенно люди пожилые, без посторонней помощи подняться в вагон не в состоянии. Но вот все кое-как втиснулись, заняты все полки, проходы, тамбуры и даже места на полу между нижними скамьями. Проходит еще два часа, пока маневровый паровоз-«кукушка» пронзительно посвистывая, хлопотливо возит туда-сюда наш вагон и в конце концов цепляет его в хвост стоящего на дальнем пути длинного сборного состава,

слепленному из разнокалиберных вагонов всех эпох, всевозможных систем и конструкций.

Здесь и давно списанные за непригодностью обычные пассажирские вагоны, и красно-бурые «телячьи» вагоны с раздвижными дверьми, на полу которых еще лежит грязная солома, какие-то допотопные нелепые сооружения на четырех больших колесах, напоминающие вагоны времен Стефенсона. Наш вагон из этой же стаи - это «дачный» вагон чеховских времен с дверью в центре, с маленькими и мутными от вековой грязи квадратными окошками, на круглой, как купол, зеленой крыше торчат высокие вытяжные трубки.

Уже 10 утра. Свисток, долгий прощальный гудок - и наш эшелон дергается и медленно, постепенно набирая скорость, отправляется на Харьков - и далее везде.

В пути мы находимся уже два часа, но от Полтавы отъехали совсем близко. Поезд наш ползет медленно, как похоронные дроги, часто останавливается и подолгу замирает на всех разъездах. Мимо мчатся на восток молчаливые госпитальные составы с зашторенными окнами и едва просвечивающимися сквозь серую пыль красными крестами под окнами вагонов. Высоко в безоблачном небе бесшумно проплывают звенья бомбардировщиков, наших ли, немецких ли, - понять нам еще трудно. Тянутся до горизонта светлые луга с темными купами деревьев, бесконечные, уже пожелтевшие степи, проносятся мимо квадраты огородов и убранные поля в бурой осенней стерне, временами кое-где видны копошащиеся в земле люди, на горизонте черной стеной стоят леса и мелькают россыпи дальних селений. Гремят железные мосты через неведомые речки, кое-где на пригорках чернеют погосты с покосившимися крестами, стоят одинокие церквушки…Привычная мирная картина, никаких примет войны…

Наш состав с шипением сбавляет ход - впереди из-за низенького штакетника выползает окруженный деревьями аккуратный белый домик с надписью под карнизом «Ж.д. ст. Чапаево», на платформе стоят люди…Внезапно из-за леса на бреющем полете с оглушительным рёвом стремительно вылетают два немецких самолета с крестами на черных крыльях, под ними с грохотом рвутся бомбы вдоль всей песчаной насыпи, взметаются цепочкой один за другим черные фонтаны земли и взрывной волной вышибает стекла в окнах нашего вагона. Самолеты проносятся так низко, что я успеваю заметить под плексиглазовыми колпаками головы летчиков в шлемах и очках. Все длится всего одну минуту. В вагоне осколки битого стекла, кого-то царапнуло и ему делают перевязку.

Самолеты уже унеслись, люди постепенно успокаиваются, приходят в себя после пережитого испуга. На этот раз немецкие асы промахнулись.

Конец дня, вечереет, наш состав уже приближаемся к Мерефе - это крупный железнодорожный узел вблизи Харькова. Тишина. Остановка. И вдруг вдали низко над самым горизонтом, в уже почти темном вечернем небе, как в ночном кошмаре зловеще и бесшумно возникают звенья «Юнкерсов» - они неторопливо откуда-то

выплывают, звено за звеном, они летят тяжело, никто по ним не стреляет. Я насчитываю семь звеньев - двадцать один самолет.

Проходит еще минута, и до нас доносится низкий пульсирующий вой их моторов, а вслед за этим слышны глухие бомбовые разрывы и отдаленный лай зениток. Проходит еще два или три часа. Лишь ночью в кромешной тьме наш состав начинает тихое движение. Очень медленно и осторожно поёзд вползает в переплетение подъездных путей товарной станции Харьков-Балашовка. В густом безлунном мраке чернеют неясные тени каких-то строений, слева от нас можно различить замершие на соседних путях темные платформы с зачехленными орудиями, справа тянется бесконечный состав с нефтяными цистернами. Время от времени слышится железное громыханье переводящихся стрелок. Но вот наш состав замирает. Ночь, глухая тревожная тишина. Откуда-то доносятся короткие свистки маневровых паровозов, металлическое звяканье сцепок, удары буферов и перекрикивающиеся голоса сцепщиков.

До утра еще далеко и люди пытаются как-то устроиться на ночь. Слышны чьи-то вздохи, стоны, храп, тихие озабоченные разговоры. Кто-то лежит на полу, другие сидят, прижавшись друг к другу и опустив голову на плечо соседа. Я устраиваюсь под нашей полкой, куда втиснуты наши вещи.

Просыпаюсь я от грохота. Кричат женщины и плачут дети. Где-то рядом оглушительным хором бьют зенитки и, перекрывая их грохот, слышны тяжелые, сотрясающие землю и воздух, тяжелые разрывы бомб, от которых вздрагивает вагон и в разбитые окна ударяет взрывная волна. В непроницаемой аспидной черноте ночи ежесекундно вспыхивают ослепительные белые сполохи разрывов и звонким градом стучат по крыше вагона снарядные осколки. Вдали над путями небо уже кроваво-багровое, там что-то горит.

Грохочущая огненная вакханалия длится несколько часов. Нам снова повезло - ни один раскаленный осколок не пробивает цистерн с горючим на соседнем пути. Иначе вряд ли сейчас я писал бы эти строки.

Наш поезд мчится по очень высокой двухколейной насыпи, с обеих сторон под нею на глубине двенадцати-пятнадцати метров лежат сброшенные бомбовыми взрывами разбитые, искореженные и обгоревшие товарные и пассажирские вагоны, смятые - будто из бумаги - опрокинутые вверх колесами паровозы, валяются оторванные колесные пары и громоздятся бесформенные черные куски обгоревшего железа.

Каждые час-полтора поезд тормозит, остановка - впереди идет ремонт путей. Немецкая авиация непрерывно наносит бомбовые удары по насыпи. Наш вагон прицеплен к какому-то невероятно длинному сборному составу, который мчится на север, к Курску. Без остановки мы минуем Купянск, проносимся мимо белоснежных, будто укутанных чистым январским снегом полян и холмов - это меловые карьеры и выходы меловых пластов в окрестностях Белгорода. Впереди Курск, но остановки там, как нам объявлено, не будет.

Курск мы минуем и мчимся еще дальше - на север, на Орел. Лишь в полночь мы оставляем за спиной Орел, и наш состав совершает поворот на восток - на Мичуринск.

Мичуринск. День пасмурный, низко нависли и грозят дождем серые клочковатые облака. На центральном вокзале мы выгружаемся прямо на забитый людьми перрон первого пути: дело в том, что наш вагон уже совсем вышел из строя и для дальнейшего пути непригоден. Его увозит мотовагон. Но в зал ожидания нас не впускают - нужны справки о санобработке. Вблизи вокзала круглосуточно работает единственная городская баня, но очередь, как минимум, на двое суток. Как и в Полтаве, в здании вокзала и на просторной привокзальной площади тысячи людей - преимущественно женщин и детей, стремящихся куда-нибудь подальше от фронта, желательно, на юг, в теплые края. Нам легче, чем многим другим, - конечный пункт назначения нам известен, там нас ждут и об этом у нас есть соответствующие документы ГКО - государственного комитета обороны. Вокзальное начальство обещает дать нам вагон прямо до Уральска, но пока…

Пока вагона нет, его еще ремонтируют в вагонном депо, и нужно подождать. Мы перебираемся в вокзальный скверик. Моросит мелкий дождик и становится довольно прохладно. Деревья уже облетели, с голых мокрых ветвей капает на расположившихся под ними людей. Вонь экскрементов, аллеи превращены в грязное месиво. Но деваться некуда. Скамеек нет, но кое-где еще уцелели какие-то дощатые будки и намокшие фанерные козырьки, под которыми когда-то торговали. Там расположились счастливчики, а прочим укрыться негде. У некоторых есть зонты, многие укутываются в одеяла, с головой накрываются пальто или плащами. Плачут дети. Кое-где уже сложены из двух-трех кирпичей и дымят маленькие очаги, на которых женщины как-то готовят пищу.

Слава Богу, затемнения в Мичуринске пока нет, в домах освещены все окна.

Час ночи. Никто не спит, но все притихли, устали, как-то устроились. Кто-то сидя дремлет, слышны тихие озабоченные разговоры. Ведь за четыре дня пути мы ничего не знаем о положении на фронтах. Кто-то в киоске достал вчерашнюю газету, другой что-то от кого-то слышал. Но обнадеживающего ничего нет - уже появились новые пресловутые «направления» - смоленское, харьковское, ворошиловградское, даже одесское…О Полтаве в сводках ни слова - но если есть харьковское направление, то, значит, Полтава уже взята немцами? И по нашим улицам сейчас ходят немецкие солдаты?.. Вывод напрашивается сам собой, но никто сказать об этом вслух не решается. Судя по всему, вот-вот немцы возьмут Харьков, на очереди Донбасс…А как же Киев, «твердыня на Днепре?» Что с ним?

В сводках всё неопределенно, общие слова и обтекаемые фразы, описания героических подвигов отдельных бойцов и командиров. У киоска Союзпечати строится очередь - должны вот-вот привезти утренние газеты со сводками с фронта. Ждут их с нетерпением и надеждой. В Мичуринске минует еще один день, и наконец-то институту выделяют вагон. Это четырехосный товарняк для перевозки скота,

довольно грязный, побитый и, судя по всему, уже основательно повидавший виды. Но в нем все как-то быстро и спокойно размещаются - ведь это не только желанная крыша над головой, но еще и надежда на близкий конец странствий.

Но вот и Саратов. Это еще тыл, город не затемнен. Но война явственно ощущается и здесь. Она в черных людских толпах на пустынной привокзальной площади под висящим на столбе рупором громкоговорителя - люди с надеждой и отчаянием в душе ждут хороших сводок…Война в их худых лицах и озабоченных разговорах, в испуганных бледных личиках детей - они в теплой, часто зимней одежде и в меховых шапочках, несмотря на еще почти теплые, осенние дни…Война всюду - в безмолвных очередях за кипятком и в медпункт, в сутолоке и скандалах у двери «Пункта питания», где будто бы выдают талоны на какие-то продукты для грудных детей.

Час ночи. Саратов тоже уже позади, и наш поезд постепенно набирает ход. Равномерно и все быстрее стучат на стыках колеса, отдаляются и растворяются в ночной мгле вокзальные огни и далеко на горизонте во тьме печально дрожат светлячки дальних селений. Тьма сгущается, нет уже ни неба, ни земли и только глухая ночь и мрак, ритмичный стук колес, привычное покачивание вагона, пыль и горький запах паровозного дыма. Ночь. Прошло немного дней, но быт в вагоне уже установился, рано темнеет, света нет, и люди рано устраиваются ко сну.

Рассветает. Поезд мчится, по обе стороны от насыпи лежит бесконечная и пустынная рыжая степь. На востоке небо порозовело, и под черно-фиолетовыми тенями еще ночного неба бруском расплавленного золота уже горит узкая полоска солнечного диска. Время от времени долго и призывно, будто зовя кого-то или прося о помощи, кричит невидимый паровоз, деловито стучат колеса и вздрагивает на стыках наш вагон.

Но вот уже рассвело, раннее утро, и пейзаж начинает меняться. На горизонте, как мираж в пустыне, проступают неверные, колышущиеся в сером утреннем мареве контуры какого-то крупного селения, уже можно различить скопление одноэтажных построек. Туман их то скрывает, то вдруг рассеивается, и тогда постройки видны ближе и отчетливее. Еще полчаса пути. Рельсы начинают разбегаться, сдваиваться, пересекаться, мелькают какие-то будки, семафоры, стрелочные рычаги, - и навстречу нам выползает длинное грязно-белое приземистое здание станции - это поселок Ершов, большой железнодорожный и шоссейный узел.

Шипят тормоза. Остановка. Здесь предполагается долгая стоянка. Люди торопливо покидают вагоны - ведь от самого Саратова стоянок не было, и теперь всем срочно требуются туалеты. Или хотя бы какие-нибудь кусты или овражки. Но не тут-то было! Ни кустов, ни овражков не видно. Всюду выжженная сухая и потрескавшаяся рыжая глина, сухой пыльный бурьян, ни единого деревца или кустика, и лишь в центре станционной площади торжественно красуется заполненная до верха мусором и отбросами полуразбитая и загаженная бетонная чаша фонтана с гипсовым пионером-горнистом в центре.

Чаша сухая, потому что в Ершове своей воды вообще нет. И вдруг - фонтан?! Чья убогая фантазия решила «облагородить» панораму грязной вокзальной площади забытого Богом селения этим бесполезным сооружением? Ведь в Ершове вообще нет водопровода и нет ни одного колодца, даже нет буровых скважин. Водоносный горизонт здесь залегает на глубине, до которой имеющимися в Ершове (да и в Саратове) техническими средствами не добраться. И поэтому вода здесь только привозная.

Обычно её доставляют в железнодорожных цистернах из Саратова. И жители поселка - их несколько тысяч - с нетерпением их ждут. Кое-где в тупиках и на дальних путях приткнулись брошенные одинокие платформы и ржавые цистерны, там видны разбитые товарные и древний пассажирский вагон без колес, на деревянных подпорках. За путями стоит приземистое красно-кирпичное здание с черными от копоти окнами - это то ли вагонное депо, то ли мастерские, оттуда слышится звон ударов по металлу и глухое уханье парового молота. А за ним, на самом последнем пути стоит длинный состав без паровоза из двух десятков рыжих теплушек для скота. И приезжий люд бодро устремляется туда.

Уже взошло солнце и становится жарко. Духота. Я стою у последней теплушки с открытой площадкой охраны и вдруг с удивлением вижу, будто за слегка раздвинутыми дверями вагона что-то промелькнуло - какое-то неясное движение, даже какие-то звуки. Что это? Я приближаюсь. И вдруг слышу громкий шепот: «Парень, эй, парень, подойдите сюда! Пожалуйста!» Я подхожу. В темной щели белеет женское лицо. Я останавливаюсь в недоумении. «Кто вы?» Лицо женщины измученное, у неё запавшие щеки, в глазах выражение отчаяния. «Мы немцы, понимаете, советские немцы, нас выслали из города Энгельса, республики Немцев Поволжья, - шепчет она. - Вторые сутки мы без капли воды! А у нас дети и старики, есть тяжело больные, и еще умершая ночью старуха! Умоляю вас, пожалуйста, скажите кому-нибудь, мы погибаем!».

Я стою в растерянности. Что делать? Куда бежать, кому сказать? Неожиданно из-за вагона появляется боец с винтовкой. Он без шапки, ворот расстегнут, у него заспанное лицо, узкие щелки глаз смотрят хмуро и подозрительно. «Эй! - говорит он мне, - Ты кто такой? Что тут делаешь? А ну, давай вали отсюда!» - «Кто эти люди?» - спрашиваю я. Он сонно зевает. «Кто, кто. Фашисты, вот кто. Немцы, понял? Вали, говорю, а то вызову начальство, тебе же хуже будет».- «У них в вагоне мертвая женщина, нужно сообщить начальству». Он хмыкает. «И без тебя знаем. Ишь, умный какой нашелся! Да пусть хоть все передохнут, а тебе-то что, - он снова зевает во весь рот. - Ну, так ты уйдешь или свистеть?»

Я медленно ухожу. В душе что-то тоскливо ноет. Что-то здесь не так, я это ощущаю. Эти люди в вагонах - фашисты? Фашисты из советской республики Немцев Поволжья? Дети и старики - враги? Как это может быть?

Посеянные в тридцать седьмом семена сомнений дают первые всходы. Я медленно бреду, я ощущаю свою беспомощность, бессилие что-то предпринять…

К вечеру нам дают отправление.
Впереди Уральск.

****В этом месте просим извинения у читателей, за то, что мы опускаем 3-ю и 4-ю главы (так как в этих главах о Полтаве не повествуется) и сразу переходим к 5-ой главе. Полный текст воспоминаний можно прочитать по этой ссылке -*

Часть 3. *http://histpol.pl.ua/ru/poltava-istoricheskie-ocherki/vospominaniya-poltavchan?id=7917*

Часть 4. *http://histpol.pl.ua/ru/poltava-istoricheskie-ocherki/vospominaniya-poltavchan?id=7919*

В зеркале памяти. Часть 5. Снова Полтава (1944-1945)

Мы прибываем в Харьков в пасмурный мартовский день. Наш состав замирает на самом дальнем пути, в тылу товарной станции. Балашовка тонет в холодном мутном тумане, над нами набухшее снегом низкое серое небо, в воздухе резкая керосиновая вонь, запахи дыма и гари. Впереди, насколько хватает глаз, растоптанный черный снег и грязь, жирные нефтяные лужи, штабеля сгнивших шпал и пирамиды ржавых железных бочек, платформы с бревнами и углем.

Все пути забиты составами, с пронзительными свистками взад-вперед бегают, пыхтя, юркие маневровые паровозы, звонко лязгают вагонные буфера. Чтобы выйти к вокзалу, нужно пересечь все эти пути. С равномерным сухим постукиванием перед нами медленно проползает бесконечный состав из черных нефтяных цистерн и, отражаясь многократным гулким эхом, с небес над путями громыхает монотонный механический голос диспетчера, повторяющего, как автомат, невнятные команды. Навстречу ему перед нами по другой колее тянется другой состав из полусотни платформ с углем. Нужно ждать, картина привычная. Ведь нам нужно двигаться дальше, до Полтавы. По сравнению с тем, что осталось за нашими спинами, это уже совсем близко, почти рядом - хоть бери свою торбу и шагай пешком.

Вскоре удается выяснить, что железнодорожное сообщение с Полтавой, слава Богу, уже есть, хотя и нерегулярное. Поезда ходят не каждый день и формируются они из старых товарных вагонов-теплушек. Но для нас роли это не играет, такой «комфорт» - дело уже обычное. Плохо лишь то, что времени их отправления не знает никто. И узнать негде. И продают ли на них билеты? И вообще - есть ли билетные кассы? Где они?

Впрочем, это тоже неважно - только бы найти такой состав. Ездить без билетов мы уже научились. И, разбившись на группы, рыщем по Балашовке. Но никто ничего определенного ответить не может, никто ничего не знает, на вопросы отвечают неопределенно и стараются поскорее отделаться.

Всё же к вечеру такой поезд мы находим. В дальнем тупике без паровоза стоят пять-шесть видавших виды изрядно побитых телячьих вагонов. Откатные двери

сдвинуты, железные петли прикручены проволокой, на стенках корявые надписи мелом «Полтава-Южная». А вдоль всей вагонной цепочки прямо на мокрой земле сидят, стоят, толпятся, курят и переговариваются, лежат на мешках, узлах и ящиках немолодые мужчины в ватниках, старики, бабы в подпоясанных кофтах и темных платках. Многие из них друг друга знают.

Откуда-то им известно, что отправят эти вагоны на Полтаву, скорее всего, ночью. И они привычно и терпеливо ждут. Дедок с двумя туго набитыми огромными мешками подходит к нам. «А ви, хлопці, звідки? Що везете? Може пшоно? Кажуть люди, що у Полтаві воно дуже дороге. А в мене є аж два лантухи, дуже важкі. Возьміть в мене один, га? Уступлю, їй-богу!» Но мы отказываемся. Дед в недоумении. «Так що ж, хлопці, ви до Полтави возите? Невже борошно? Або ж цукор?» Мы ему поясняем, кто мы и откуда едем. Он качает головой. «Шкода, що не хочете узяти. У Полтаві тепер справжня голодуха, окрім картоплі нічого немає, та й та мерзла».

М-да, информация малоприятная. Но все равно, сейчас нам не до этого.

Ночь, холодно и темно, лишь неспешно вращающийся тонкий прожекторный луч на высокой стальной мачте время от времени освещает нас синим призрачным лучом и тут же скользит дальше. В его свете лица людей похожи на лица утопленников. Балашовка стихает. А мы ждем. Узнать, пойдут ли эти вагоны в Полтаву или нет, негде. И мы ждем, всё равно деваться нам некуда. Но вот часа в два ночи к нашему составу подают пыхтящий, весь в клубах пара и дыма паровоз, гремят буфера, толчок, лязг и одновременно с этим люди бросаются на штурм вагонов. Проволочные петли мгновенно сбиты, отовсюду несутся крики и ругань, женский визг и матерщина.

Мы действуем дружной группой, ребята мы молодые и здоровые, да и остаться нам не хочется, и мы без зазрения совести отталкиваем более слабых. Ни лесенок, ни ступенек, конечно, нет, и мы, помогая друг другу, взбираемся в высокий вагон. А за нами, ругаясь и матерясь, лезут и прочие. Вскоре вагон заполняется до отказа. Темно, не видно ни зги. Лишь кое-где вспыхивают огоньки зажигалок, пахнет махоркой и мочой. Кто-то стонет, а кто-то уже храпит. Теперь в вагоне лишь с трудом можно найти на полу местечко, чтобы сесть - на свой мешок, конечно. Проходит полчаса. В кромешной тьме невидимый паровоз тоненько свистит и вагон дергается. И наш состав неспешно отправляется.

Ура! Стучат колеса, ускоряется отсчет стыков. Уже ночь, очень поздно, но ни у кого из нас сна ни в одном глазу. Все радостно возбуждены - мы едем домой, в Полтаву! Всего несколько часов - и мы там. После всего пережитого в это невозможно поверить.

К Полтаве мы подъезжаем ранним утром, едва начинает светать. Утро серое, неприветливое, всё в густом молочном тумане. Очень холодно, всё сырое, неприятно липкое. Конечно, никто из нас так и не уснул. Мы толпимся у раздвинутых полотнищ вагонной двери и жадно вглядываемся в проползающие мимо разъезды и полустанки, пытаемся увидеть, узнать что-то знакомое. Но ничего разглядеть нельзя - всё едва

просматривается в холодном тумане, даже стук колес звучит глухо, будто сквозь слой ваты. Мимо проносятся едва различимые в мутной мгле голые черные деревья, какие-то будки, домики, гремят стрелочные переводы, иногда промелькнет серый контур стоящего с флажком в руке дежурного. Всё нечётко, смутно, как во сне. И всё же во всем этом - необъяснимо - ощущается что-то своё, близкое, очень знакомое…Проходит еще полчаса, мучительных, нетерпеливых…

Но вот поезд начинает тормозить, замедляет ход, медленно вползает в лабиринт подъездных путей. Сквозь густой туман можно различить какие-то низенькие постройки, мимо проплывает приземистое краснокирпичное здание вагонного депо, стоящие на соседних путях платформы с углем, одинокие товарные вагоны, тянутся черные нефтяные цистерны, в стороне видны складские здания, на рампах громоздятся горы ящиков и бочек, всюду снуют люди… Это уже вокзал.

Еще немного, еще…еще… Всё. Вдоль состава проносится звонкий лязг буферов, долгое шипение тормозов, вагон дергается и замирает. Мы в Полтаве. Это вокзал «Полтава Южная».

После уже привычного ритмичного стука колес и вагонной дрожи наступает минутная тишина и тут же из всех теплушек начинают вываливаться люди, все с мешками, ящиками, узлами, фанерными чемоданами. Над перроном стоит сплошной общий крик, шум, перекличка голосов, ругань. Разбитый грязный асфальт в выбоинах и черных лужах, между приезжими быстро снуют какие-то юркие люди: это перекупщики, они заглядывают в лица, мгновенным опытным взглядом ощупывают выгружаемые на перрон мешки. На нас, с нашими полупустыми мешками за плечами, они не смотрят. Они ждут и ищут своих, уже знакомых.

Мы на перроне. Все бледны после бессонной ночи и слегка растерянны. Вокруг нас бегут люди, шум, голоса, озабоченные выкрики, а мы молча стоим. Впереди сквозь серый туман слабо просвечивает мутный контур вокзального здания, но даже отсюда можно разглядеть, что крыши нет и неровные, обломанные, как гнилые зубы, чернеют зазубрины стен верхнего этажа. Подходим поближе. Через пустые оконные проёмы видна лежащая внутри многометровая, вровень с окнами второго этажа груда битого кирпича, щебня, досок и обломков бетона, из неё торчат железные балки и прутья железной арматуры. Там, где когда-то был выход на перрон, в закопченной стене огромный рваный пролом, над ним, грозя обвалиться, нависают куски стен и рядом белеет наполовину уже оборванный немецкий приказ с распластанным хищным черным орлом и пауком свастики.

Для меня такая картина уже давно не новость, я не раз видел такое в Харькове, Запорожье, Сталино, Лозовой, еще где-то… Но многие из нашей уральской группы видят это впервые. Их это ужасает. Они слышали рассказы очевидцев, видели фронтовую кинохронику и фотографии в газетах, но увидеть всё это своими глазами - совсем другое… И даже для меня, при всей моей опытности, всё здесь воспринимается иначе - ведь это Полтава!…

Мы выходим на вокзальную площадь. Всё скрыто в холодном и липком молочном тумане. Уже шесть утра и, значит, скоро рассветёт. В мутной белой мгле размыто чернеет коробка сожженного здания клуба железнодорожников и вдали сквозь серую пелену просвечивают, скорее, угадываются очертания с детства знакомых городских склонов… Вся вокзальная площадь забита телегами, грузовыми машинами, подводами и ручными тележками. Всюду снуют и толпятся люди, сигналят машины, сплошной крик и шум голосов. На затоптанном грязном булыжнике черные лужи, солома, конский навоз.

В противоположном конце площади, там, где раньше был мост через Ворсклу и стояли фонари, сейчас пустота - можно различить пологий и пустой противоположный берег. Обломки взорванного моста торчат из воды, видны руины береговых опор. Прямо по воде проложен бревенчатый настил без ограждения, по нему в обоих направлениях густо снуют люди и очень медленно, непрерывно сигналя, передвигаются с включенными фарами машины. Иногда под их весом настил погружается, и ноги прохожих заливает вода. Мы торопливо перебираемся на другой берег реки. Кто-то торопится поскорее встретить родных, у другого на Подоле его дом, а кто-то остается на вокзале, чтобы случайной попуткой или телегой добраться до своего райцентра или села. Встретимся мы уже в институте.

Со своей полупустой торбой через плечо я выхожу на подъем в город. Я шагаю быстро и всё время тревожно озираюсь. Здесь мне всё хорошо знакомо. Взволнованно стучит сердце. Влажно блестит бугристый булыжник мостовой, слева высоко на горе я вижу какое-то сгоревшее черное здание с пустыми закопченными оконными проемами. Всюду грязь, кучи вывороченных камней, бумага, мокрое тряпье. Мимо меня, навстречу и обгоняя, разбрызгивая рыжие лужи, с пыхтеньем ползут в клубах синих выхлопов тяжелые «Студебеккеры», тарахтят телеги, по разбитому мокрому асфальту узкого тротуара вверх и вниз движутся люди.

Лежат на земле оборванные провода, телеграфные столбы повалены, вывороченa земля. Слева от меня сплошь тянутся знакомые одноэтажные убогие домишки, серые заборы, калитки, ворота. Здесь всё осталось таким, каким было, будто и не было этих двух лет. Я вижу хорошо знакомое красно-кирпичное строение мельницы, где когда-то служил мой дед… И почти напротив него врос в землю слегка покосившийся белый домик, almae matris нашей семьи…Уцелел!

Я шагаю наверх, меня несёт нетерпение, ожидание встречи. Я почти уже бегу, хотя торопиться мне, в общем, некуда. Но меня торопит возбужденное, нервно-лихорадочное состояние, часто стучит сердце и даже слегка морозит. Никто на меня не обращает внимания, я влился в городской человеческий поток, ничем не выделяюсь, внешне я, как все.

Но сам я еще ощущаю себя чужим. Я еще не вернулся домой. Я испытываю сложное чувство: в нём волнение и тревога, страх встречи с неизвестным и острое желание поскорее войти в город, увидеть улицы, дома, и тут же подсознательное ощущение утраты прошлого, того, что вернуть уже нельзя... Но стоп. Я уже наверху. Это центр города. Теперь нужно остановиться, осмотреться, отдышаться. Бешено колотится сердце. Туман здесь немного реже. И пусто…тишина…на тротуарах ни души. Знакомая площадь и веером разбегающиеся улицы, слева от меня пустой Петровский парк с голыми черными деревьями, вокруг и впереди хорошо знакомые фасады домов, уходит вдаль с небольшим изгибом кажущаяся странно широкой безлюдная улица Ленина, влажно блестит неровная булыжная мостовая… Всё, как было когда-то…Но нет, я уже вижу, это не так.

Нет цветной черепичной крыши нашего музея, вокруг площади в сером тумане пустых улиц мертвым строем тянутся сожженные двух-трехэтажные кирпичные коробки с обрушенными карнизами, зияют черные провалы оконных проемов, закопченные фасады… И пусто, безлюдно. Лишь иногда из глубины развалин ветер дохнет горькими запахами дыма, горелого дерева, потянет сладковатой вонью экскрементов. Призрак прежних улиц. Прошлое невозвратимо исчезло.

Ноги несут меня на Комсомольскую, к нашему дому. Я миную пустые коробки сожженных домов, память услужливо и невольно фиксирует - домов, что раньше тут были, сейчас нет, вместо них громоздятся кучи кирпича, кое-где, будто с угрозой, торчат в небо черные печные трубы и обломки стен, ограды из колючей проволоки... Нет - будто никогда и не было - нашего небольшого, но уютного

одноэтажного почтамта с широкими гранитными ступенями углового входа… Рядом с ним груда развалин на месте здания телеграфа… Нет еще многих домов, на их местах пустыри, груды кирпичного боя, заборы, кое-где на столбиках натянута колючая проволока. Но вот и наш квартал.

Сожжен и смотрит на меня пустыми глазницами дом, в котором жил и из которого ушел на смерть в застенки НКВД одноногий герой гражданской войны дядя Ваня Писаревский… Нет белого домика портнихи Станиславы, говорящей вместо «с удовольствием» - «к сожалению». На его месте пустырь. Пусто на месте, где осенью сорок первого мы рыли в земле защитную щель от бомб. И уже издали я вижу наш дом. Он цел! Целы окна, кое-где отвалилась штукатурка стен, висят, перекосившись, двери парадных, целы балконы. Я подбегаю и стою у нашего парадного. Входная дверь косо висит на одной петле. А вот и наш балкон, та же старая дикая маслина протянула к нему свои ветви… Забиты фанерой окна первого этажа, где под нами жили Кунины со своими собаками, но цела и невредима дверь с улицы в квартиру сестер Заславских…Странное чувство, колотится сердце, неужели всё это явь? Но теперь я уже вижу: на месте здания кондитерской фабрики, выходящего углом на Шевченковскую, пустота. Занимая весь угол и бывший фабричный двор, высится громадная гора щебня и битого кирпича. И явственные следы пожара на левом торце нашего дома, там выгорели все окна и над ними по стене ползут черные рогатые языки копоти. На улице я один, нигде ни души. То ли еще рано, то ли никто здесь не живет. И, судя по всему, дом пуст.

Я вхожу в темное парадное…Знакомые с раннего детства, стертые миллионами шагов металлические ступени, та же цветная плитка на лестничных площадках, те же дубовые перила, до блеска отполированные тысячами прикосновений и моими штанами…Второй этаж…Вот и наша входная дверь, она не заперта…На дверном косяке кнопка звонка, обшитая белой жестью из консервной банки (чтобы ночью не украли - такое случалось). Замка на двери нет, и я вхожу… Пусто, никаких признаков жизни. Пустой длинный коридор, распахнуты все двери в странно гулкие, совершенно пустые комнаты.

Стекол в окнах нет, лишь кое-где торчат острые черные пики осколков, на подоконниках и на полу кучи мокрой грязи, всюду на полу большие куски, целые пласты отвалившейся с потолка штукатурки и изразцы кафельной печи, расколота каминная полка, грязный набухший паркет вздыблен и повсюду на полу хрустит битый кирпич, мел, обрушенные куски карнизных падуг… Угрожающе висит над самой головой мокрая, в рыжих пятнах и трещинах штукатурка потолка. Под ногами трещат осколки битого стекла. А на подоконнике лежит намокшая, с треснувшим стеклом выпускная карточка папиной фармшколы какого-то года. На ней в первом ряду сидят папа и преподаватели, за ними стоят улыбающиеся студенты…

…Теперь временно я живу у моих теток, папиных сестер. Темноватая узкая комната с окном и дверью прямо на улицу находится в первом этаже старого дома напротив базара на Шевченковской. В комнату ведет довольно высокое и узкое

кирпичное крыльцо из пяти-шести ступенек. «Удобства», естественно, в соседнем дворе. Света у нас нет, как нет и водопровода. Впрочем, в городе так у всех.

Так что носить воду из колодца приходится мне, это естественно. Но колодец - ничейный, уличный, без ограждения, которое, по слухам, когда-то было, но разобраны на дрова. Опускать ведро приходится, стоя на кирпичиках у самого края довольно широкой и глубокой ямы, в которую из-под ног нередко оползает намокшая скользкая и грязная земля. Но думать об этом нельзя - нужно изловчиться и, вытягивая ведро, не расплескать воду, да еще самому удержаться, чтобы не свалиться в колодец. Иногда, особенно, со стариками, такое случается.

Их, мокрых, несчастных и плачущих, ругаясь и проклиная, сообща вытаскивают. И затем снова черпают воду. Находится этот колодец на той же Шевченковской в пяти-шести кварталах от нашего дома - это дальний городской район с частной застройкой. Дома и усадьбы здесь почти все целы. Немцы, отступая, сожгли центр города, а до этих районов руки у них, как видно, не дошли.

Носить наполненные ведра далеко и неудобно, особенно в гололедицу или дождь, ведь еще март, часто еще идут дожди, а то и со снежком, по ночам подмораживает. А сделать нужно хотя бы две-три ходки, чтобы наполнить наши «хранилища» - две алюминиевые выварки. Процедура эта обычно отнимает полтора-два часа - в зависимости от длины очереди к колодцу. А в дни стирки и того дольше.

Неприятно еще и то, что колодцем пользуется множество людей, и все лезут в него своими ведрами. По утрам там обычно стоят длинные шумящие очереди и несется громкая перебранка - чаще всего, из-за того, что воду своими ведрами набирают и тут же из них поят лошадей подъехавшие возчики.

Обычно это угрюмые, молчаливые парни из демобилизованных, на возмущение и протесты очереди они ни малейшего внимания обращают, и связываться с ними рискованно. И очередь, ворча, покорно ждет. После их отъезда в воде нередко плавают соломинки, щепки и кусочки глины, а иной раз и желтые хлопья конского навоза. Но другой воды нет. Так что дома мы ее отстаиваем. Для этой цели на толкучке нужно купить таблетки в круглых жестяных баночках, которыми немцы снабжали своих солдат, - их бросают в грязную воду, и грязь, бурно шипя и бурля, на глазах оседает.

Живется нам трудно. Плохо с продуктами, «отоваривать» продуктовые карточки удается не всегда, очередь у магазина нередко приходится занимать с раннего утра, за два-три часа до открытия. На базаре же кроме овощей и битых кроликов, больше смахивающих на кошек, мяса нет. Тетки мои умудряются что-то фантазировать из имеющегося продуктового ассортимента, и мы, в общем, сыты. К тому же я, как правило, обедаю в столовой института, там без карточек и дешево, а обычное меню - желтая водянистая жижа с вываренной добела свеклой под названием «борщ украинский» и пшенная каша без масла. И всё это за копейки. В условиях плохо и ненадежно работающей карточной системы это великое благо.

Мало-помалу в сожженном, разоренном и разрушенном городе образуется свой быт. Ежедневно с раннего утра за базаром перекликается тысячами голосов и шумит

огромная толкучка. Тысячи людей перемещаются взад-вперед, трутся друг о друга в надежде что-то недорого купить или выгодно продать. В толпе мелькают милицейские шапки, иной раз слышны крики и трели милицейских свистков - это ловят шныряющих в толпе карманников.

В конце толкучки у улицы Чапаева прямо с земли продают всевозможную кухонную утварь, табак, мёд, немецкие отрывные картонные спички, дрова. Найти здесь можно всё: любые носильные вещи, военные шинели и суконные солдатские ушанки, довоенную женскую обувь и грубые кирзовые сапоги, редкие книги X1X столетия и подшивки журнала «Нива» начала века, патефонные пластинки, в том числе немецкие, самовары и утюги, отрезы тканей, гвозди и инструменты, всевозможный хлам. И однажды среди какого-то старья я вижу лежащий на земле небольшой кожаный саквояж с латунной защелкой - что это? Продавец безнадежно машет рукой. «Купи, парень! Ей-богу, отдам недорого. Какие-то непонятные инструменты, возьми! » Я смотрю - ба! Да это немецкий набор для настройки роялей и пианино - специальные ключи и отвертки, длинные и тонкие щипцы, узкие изящные пинцеты, двурогий камертон - всё это новенькое, в отличном состоянии. Я задумываюсь - купить? Зачем? Что с ним я буду делать?.. А-а, ладно, куплю, как раз стипендия в кармане. Мы недолго торгуемся - и набор мой. Немного позже он мне пригодится, я научусь, и буду, увы, недолго, подрабатывать настройкой пианино. О первом моем опыте настройки я расскажу немного ниже. А вот научиться настраивать рояли я так и не успею (позже, уже в Киеве этот прекрасный и, как выяснится, очень дорогой набор инструментов у меня украдут).

Начинают работать магазины в уцелевших лестничных клетках на нижних этажах полусгоревших домов. По утрам у еще запертых дверей в любую погоду строятся длинные очереди, пишутся списки и проводятся с переклички в ожидании подвозки хлеба или в надежде «отоварить» продуктовые карточки. И горе пропустившему очередную перекличку или попросту опоздавшему! Очередь такое не прощает, становись в хвост!

В узкой и длинной, вроде сарая дощатой пристройке со двора к сожженному зданию, где когда-то был кинотеатр «Рекорд» (на улице Октябрьской), вечерами уже идет кино. Там дают не только советские, но и американские фильмы: «Сестра его дворецкого», «Джорж из Динкли-джаза» и еще некоторые немецкие трофейные, не озвученные на русский - «Девушка моей мечты», «Звезда из Рио», «Милый друг» и другие.

Кинобудка висит на уцелевшем со двора куске перекрытия сгоревшего здания, а в другом конце сарая на полу у самого экрана стоят два черных динамика, они натужно хрипят и извергают невнятные грохочущие звуки. В «зале» впритык стоят шаткие узкие скамейки без спинок и без номеров, проходы тоже очень узкие и тесные, в прыгающем голубом луче, бьющем из кинобудки, вьются к потолку синие махорочные дымки. Пленка то и дело рвется и зал разражается воплями: «Сапожники!».

Я смотрю эти фильмы с двойственным чувством. Фильмы бездумные, пустые, со слащавыми любовными сюжетами, они без войны и крови, без пожаров и человеческих страданий. Люди по таким картинам соскучились. Но в сожженном, разрушенном и темном городе, среди безлюдных гулких улиц, вдоль которых стоят мертвые скелеты сгоревших зданий и свистит ветер в пустых проемах, вся эта экранная псевдо-жизнь выглядит наивной и смешной сказкой - все эти сияющие, залитые ярким светом дворцы, хрустальные люстры и беломраморные колоннады, бьющие роскошные фонтаны водопады, веселая, нарядная, искрящаяся музыка, прелестные игривые девушки, балет, песни, шутки, смехотворные «смертельные» любовные интриги и фанерные страдания. Весело и смешно… И невозможно избавиться от ощущения несуразности, раздражающего нелепого контраста с нашей жалкой, полунищенской жизнью…

Но это кино. Бог с ним, вышел и забыл.

Но в жизни тоже ощутима невидимая, разделяющая преграда между нами - уезжавшими, и ими, остававшимися. Это - психологический разрыв, взаимная настороженность, осознание того, что мы стали разными. С нашей стороны - это подсознательная неприязнь, недоверие, иной раз даже тайная враждебность по отношению к ним, остававшимся в городе, кто вольно или невольно жил эти два года в ином, непохожем на прежний, чужом и опасном мире, кто освоился, уцелел и выжил.

И даже приспособился. В этом злом чувстве есть оттенок - это, чего греха таить, тайная злая зависть. Ведь мы отсюда уезжали, убегали, бросив свои дома, оставив всё и просто спасаясь от смерти, мы стали нищими, бродягами без крова над головой. Теперь мы вернулись. Но куда? На свои разоренные пепелища? Ведь жизнь наша нарушена, она утратила заданный с детства ритм и самое главное - свой вектор…А они, остававшиеся, продолжали жить в своих домах, ходить по улицам нашего, еще целого города, встречаться с друзьями и подругами, смеяться, смотреть кино, одним словом, жить.

И вот мы встретились. Да, мы, вернувшиеся, и они, остававшиеся, повзрослели, изменились. То, что свершается с человеком за долгие годы обычной жизни, произошло с нами за эти два года.

Осенью 41-го я оставил Полтаву зеленым юнцом, не до конца осознававшим ужас происходящего, крах жизни. Сейчас, в 44-м, я уже не тот. Я узнал человеческую подлость, увидел изнанку жизни, нищую, разоренную и озлобленную страну, вшивые грязные эшелоны, хаос и неразбериху, бомбежки, смерти и пожары, голод, холод и разруху, людское ожесточение, злобу, горе и отчаяние. И сейчас на знакомых, которых теперь встречаю, я смотрю иными, подозрительными, глазами: кто вы? Что у вас за душой?

Они мне улыбаются, а я думаю - какими были бы вы, если бы встретили меня в дни оккупации на этой улице? Рискнули бы спасти? Или торопливо прошли мимо, сделав вид, что не заметили? Испугались и нашли повод, чтобы поспешно уйти? Или донесли на меня? Я понимаю - им тоже досталось. Они успели увидеть много разного

и тяжелого. Их привычный мир рухнул, все стало чужим и опасным. Вся окружающая жизнь стала неустойчивой, непонятной, временной. И страшила мысль о жизни, если прежнее не вернется. Что тогда будет? Как они будут жить? Кем смогут стать, чем заниматься?

Многие общие знакомые погибли, сгинули, бесследно исчезли, другие же затаились. А есть и такие, о которых рассказывают невероятные вещи. Кое-кто, кого мы хорошо знали и считали друзьями, сразу же после отъезда общих знакомых или товарищей сразу же бросались в оставленные квартиры и жадно, не стесняясь, тащили всё: ценные вещи, обувь, белье, книги, картины, граммофонные пластинки, иногда даже увозили мебель. Нашлись и такие, у кого вечерами шумели пьяные оргии с участием полицаев и даже немцев.

Невероятно звучит рассказ бывших соучеников по 10-й школе о нашей директрисе, М. Г. Петренко, пламенной большевичке, обожавшей жаркие диспуты о настоящем советском человеке, но город не покинувшей и сразу же, на глазах у всех, сошедшейся с немецким офицером. Были и другие. Просто привычно и покорно приспособившиеся к новому, немецкому «порядку», чужих квартир не грабившие, никого не выдавшие. А было немало радующихся новой власти, охотно ей служивших и надеющихся на блага от неё.

***[Мне кажется уместным прервать на этом месте воспоминания Ильи Александровича и привести здесь присланный им рассказ Аникеевой, о которой он упоминает в первой части своих воспоминаний - Т.Б.

В один из вечеров я застаю у нас дома - трудно поверить! - старуху Аникееву. Я не верю своим глазам. Это она, очень состарившаяся и худая, почти скелетообразная, с сухой желтой восковой кожей, обтягивающей впалые щеки и лоб. Она без зубов, рот ввалился, но из густой сети морщин серые глаза молодо улыбаются. «Прочитала в газете, что вернулся ваш институт, - радостно, беззубо шепелявя, говорит она. - Ну и отправилась по адресу. И, как видите, нашла вас».

Аникеева аккуратно одета, на ней простая, но хорошая и чистая обувь, на плечи накинут красивый темный платок. «О ваших злоключениях я знаю, - говорит она. - Слава Богу, что вы все живы! Бог Россию спас, вопреки этим ничтожествам, большевикам. Но я понимаю, что вас интересует, как я умудрилась выжить в эти жуткие годы. Расскажу. Только наперед скажу, чтобы быть объективной: при немцах, которых я, как всякая русская, всегда ненавидела и ненавижу, в городе был порядок. Конечно, это был страшный, полицейский порядок. Они убивали и казнили невинных людей, но делали это, как тати в ночи, тайно.

Даже не все об этом знали. Вечерами по улицам города ходили немецкие патрули, и было тихо. Конечно, хуже немцев были только наши, украинские полицаи, всегда полупьяные подонки, они были очень опасны, могли ни за что избить, а то застрелить человека, или отнять хорошую вещь, могли изнасиловать женщину. Конечно, когда в октябре сорок первого два дня расстреливали евреев, в городе об

этом знали все. Но, в общем, большинство отнеслось к этому вполне равнодушно, пошептались и забыли.

Но знали, что расстреливали не немцы, а полицаи, немцы только наблюдали и руководили. Сами пачкать рук они не любили. Было известно и то, что охраняли лагерь военнопленных и свирепствовали там тоже полицаи. За деньги они могли отпустить кого угодно. Правда, немцы цену полицаям хорошо знали, презирали их, двух даже повесили у нас на базаре за изнасилование девушки. Но, я знаю, многие наши сограждане немцами были вполне довольны.

Можно было торговать, обманывать, открыть свое дело или свой магазин, не стало в городе, извините, жидов. Многих это устраивало, русского патриотизма, национальной гордости в них не было ни на грош, - Аникеева умолкает, собирается с мыслями. - Но вообще скажу вам: большевики, конечно, не власть, но и немцы были точно такие же, такая же банда. Их Гитлер и наш Сталин - два сапога пара…- Аникеева смеется. - Я говорю страшные слова, но мне уже ничего не страшно. Да… А в мае сорок второго ко мне приехала из Франции Ольга, моя дочь. От меня, от всей моей и вообще нашей жизни она была в ужасе. И уговаривала меня уехать с нею, такая возможность тогда была. Но за эти четверть века мы с нею, как мне ни горько это говорить, стали совсем чужими, она почти забыла русский язык, забыла, что она русская. Мы перестали понимать друг друга. Конечно, я отказалась уехать с нею. Мне осталось уже недолго, но я хочу лежать в своей земле. В которой лежат мои сын и муж. Да…Перед отъездом Ольга меня одела и дала денег, помогла переселиться в приличную комнату, в которой я живу и сейчас. О ней я ничего не знаю. Вот и вся моя история».]

В один из таких дней на улице я встречаю Надю Радченко. Когда-то давно мы с нею учились в музшколе у Генриха Станиславовича, жили рядом и после занятий вместе ходили домой. Однажды она привела меня к своей подруге Соне Г. на день рождения. Не знаю, кем был отец Сони, но жили они в новом 3-этажном доме на углу Пушкинской и Котляревского в квартире без соседей, что тогда было большой редкостью. Квартира была хорошо обставлена, но мне запомнился рояль. Большой черный рояль с открытой клавиатурой. Мать Сони была учительницей музыки. Помню, что когда все собрались, она села к роялю. Играла она, на мой взгляд, плохо и бесцветно.

А я с нетерпением ждал, когда разрешат мне сесть за рояль. Разрешили, но только после чая. Рояль был чудесный, с мягким и глубоким бархатным звуком, и играл я с удовольствием. Играл, конечно, популярные танго и фокстроты, а также мелодии песенок Утесова, Шульженко, Изабеллы Юрьевой. А ребята окружили рояль и подпевали. Но тут в комнату вошла мама Сони. «Прекрати! - сказала она гневно. - В моем доме играть эту гадость я запрещаю!». Мы умолкли, я закрыл крышку рояля, поднялся, и мне хорошо запомнились слова Игоря, соученика Сони. Он громко проговорил: «Как это верно! Просто порча вкуса».

А сейчас март 44-го, мы с Надей стоим на улице, она уже замужем и имеет сына. «Ты мою подругу Соню Г. помнишь?- спрашивает она. - Когда вошли немцы, я не знала, уехали они или нет. Ведь многие тогда остались, не успели эвакуироваться или просто не знали, что их ждет.

А через несколько дней я проходила под их домом и вдруг услышала звуки рояля - играли «Лунную сонату». Звуки шли со второго этажа, из балконной двери квартиры Сони. Я удивилась и заколебалась, но потом всё же решила подняться и постучала. Мне открыли, и я увидела… Знаешь кого? Игоря. Может быть, помнишь его, на именинах Сони? Он был в белой сорочке с галстуком, а за роялем, через раскрытую дверь я заметила, сидел молодой немецкий офицер. Я обмерла. «А Соня…где?» Игорь усмехнулся. «Они уехали. Так что теперь здесь живу я с моими родителями. Входи, у нас сейчас друзья!». Но я испугалась и поскорее убежала»…

…И еще я узнаю многие другие, трагические, совершённые прежними хорошими знакомыми невероятные поступки, кажущиеся просто невозможными и необъяснимыми.

Но вот по институту проносится волнующий слух: всем желающим будут выделяться участки земли по 4-5 соток под огороды в четырех-пяти километрах от города. И уже идет запись.

Я немедленно записываюсь. Правда, обработка земли - а это целина - возлагается на самого владельца участка. Никакой технической помощи не будет - вскопать придется самому. Но хотя бы обеспечение семенным картофелем и фасолью, по слухам, берет на себя институт. А это немало.

…Когда-то, в начале тридцатых, в знаменитые голодные годы мы, пацаны и девчонки нашего двора разбили на свободном участке у дома крохотные «огороды» около метра в ширину и четыре-пять в длину. Больше не получалось. Мы огородили их веревочками по вбитым по углам колышкам и кое-как сами вскопали. Не глубоко, конечно. Но зато! И что только не росло на моем огороде! Картошка и помидоры, лук и чеснок, фасоль и огурцы, свекла и морковь, даже укроп и петрушка. Всё разместилось.

С утра мы уже мчались к своим огородам и гнали котов, которым почему-то нравилось справлять свои кошачьи дела именно под светло-зелеными кустиками наших помидоров или картофеля. Мы вели журнал всходов, окучивали их, пололи и поливали, до хрипоты, а иной раз и до драк, спорили о степени созревания наших питомцев и от нетерпения срывали их еще непригодными для еды, полузелеными, даже не дав им дозреть.

Помню, как, трепеща от гордости, я принес и торжественно вручил маме урожай - полтора стакана полузеленой фасоли, из которой в тот же день был сварен жидковатый невкусный суп с плавающими зеленоватыми фасолинами. Помню, как иронически ухмылялся папа. Но ел молча, посмеиваясь, и даже похвалил. Но это был важный жизненный опыт. С тех дней я безошибочно умею отличить зеленый куст картофеля от куста помидоров, знаю, как растут и вьются огурцы и фасоль, различаю

стрелки лука и чеснока, знаю, как нужно картофель сажать, окучивать, полоть и поливать.

Но теперь всё всерьез. Мой участок - это четыре сотки, и его нужно вскопать самому. Это целина, никем никогда не вспаханная, сухая, очень твердая и проросшая корнями вольных трав. Опытные люди говорят, что начинать копать нужно уже сейчас, в эти сырые и холодные мартовские дни, пока только начинает таять снег, и земля, как считают, еще относительно мягкая.

А вот недели через две, когда она подсохнет и окаменеет, лопатой ее не возьмешь. Ковырнешь в лучшем случае на полштыка и потом ничего в неё не посадишь. И в одно сырое и ветреное воскресенье мы с раннего утра группами выходим в поле. Снега уже нет и огромный покатый пригорок весь в сухой и густой прошлогодней черно-рыжей траве. В километре темнеет редкий лесок, внизу пригорок скатывается в овражек, на дне которого в серой тени еще лежит черный пористый снег, а вдали видна довольно плотная застройка, усадьба к усадьбе, и где-то там, среди них, как нам говорят, находится дом писателя Панаса Мирного, нуднейший роман которого «Хіба ревуть воли, як ясла повні» мы мучительно «проходили» в школе и с внуком которого Юрой Рудченко в школьные годы я был очень хорошо знаком. Там, по слухам, на одной из улиц есть колодец, - значит, будет, откуда носить воду для полива.

Хорошую, очень острую, с роскошной деревянной ручкой немецкую саперную лопату, предмет зависти товарищей, я выторговал на толкучке и обзавелся плотными рукавицами - это слабая надежда на защиту от неизбежных волдырей. Еще холодно, местами даже попадаются хрустящие под лопатой корочки льда. Но мы копаем. Это очень трудно. Намного труднее, чем я предполагал. Если этот грунт считается мягким, то трудно вообразить, что такое земля сухая. Ведь и в такой, как сейчас грунт, моя острейшая лопата почти не лезет.

И уже через два часа ломит плечи и поясницу, болят мышцы ног и на ладонях, несмотря на рукавицы, вскочили красные волдыри. К концу первого дня я едва добираюсь домой. Я не один такой - всем нам, горожанам, трудно. Но постепенно я привыкаю, как-то приспосабливаюсь. Учат меня и помогают советами некоторые ребята и девочки - они сельские, у них есть опыт. И я учусь. Болезненные волдыри на ладонях лопаются и превращаются вначале в кровавые раны, а еще немного позже - в жесткие наросты на ладонях, мозоли. И все же к концу марта - слава Богу! - мой участок как-то вскопан. И в начале апреля под руководством опытных огородников я в течение двух дней высаживаю картофель и фасоль. Это всё, ура!

…Вернее, пока всё. Скорее - начало. Теперь нужно следить за всходами, поливать их, полоть, «сапать», окучивать, делать что-то еще. Всё это приходится делать в воскресенье или после занятий в институте, в конце дня. Хорошо, что добираемся туда мы целой компанией, хотя бы не скучно. Позже все вместе мы будем картошку копать и носить мешками в город. Так что забот хватит мне на всё лето, до самой осени.

В один из дней в институтском коридоре ко мне подходят невысокая черноглазая девушка и худощавый парень. Она довольно полная брюнетка с гладко зачесанными черными волосами и темным пушком на верхней губе, похожа она на цыганку или грузинку. А он – застенчивый и смущающийся светловолосый паренек. Мы знакомимся. Её зовут Изольда, его - Костя. Они студенты первого курса пединститута и по согласованию с профкомом хотят организовать свой джаз-оркестр. Но с чего начать - не знают. Кто-то из общих знакомых рекомендовал им обратиться ко мне за помощью. У них есть ребята, которые играют на разных инструментах. Но как сделать из них оркестр?

Мы уславливаемся о встрече - она произойдет в уцелевшем здании 3-й школы, что по улице Куйбышева, вблизи базара. Сейчас там идут спектакли городского драматического театра имени Гоголя (другого помещения нет), но в свободное от репетиций и спектаклей дневное время студентам пединститута разрешается пользоваться пианино, что стоит в фойе. Особенно, когда становится известно, что я готов взяться за его настройку. Притом, что за это мне еще и заплатят! Немного, но это неважно, ведь это мой первый заработок на этом поприще. И я смело берусь. Слишком, как вскоре выясняется, смело. Пианино довоенной киевской фирмы «Червоний Жовтень», очень глухое, звук тупой, тусклый, ватный. И клавиатура неподатливая, педали работают туго, со скрипом. Не зря эту фирму в народе уже давно переименовали на «Киевпалыво» - то есть, грубо говоря, дрова. Ко всему, как видно, это несчастное пианино стояло в нетопленном помещении, отсырело и очень расстроено. Но какие-то глухие ватные звуки оно еще издает.

В условленный день прямо с утра я со своими роскошными немецкими инструментами, как заправский настройщик уже располагаюсь в фойе театра. Сотрудники смотрят на меня с уважением, особенно, на мои сверкающие инструменты. А я волнуюсь. Всё оказывается совсем не просто, гораздо хуже, чем я думал: деревянная дека отсырела и набухла, колки, которые держат концы струн, прокручиваются в гнездах или, наоборот, не подаются ключу. В итоге - струны строя не держат.

Кое-как, проклиная всё на свете, я закрепляю колки и тяну струны, но вожусь не два-три часа, как рассчитывал, а почти до вечера. На улице уже темно, в фойе много народу, а я, голодный и обозленный, всё еще тут, ругая себя за излишнюю самоуверенность и хвастовство. Все же как-то работу я завершаю. Пианино, в общем, почти настроено и даже звучит. Но механика, как была никудышной, такой и остается, - тут я бессилен.

Боюсь, что моей настройки хватит на неделю-полторы, а потом…Потом придется настраивать опять. Завхоз театра со мною очень любезен и тут же рассчитывается. Он доволен: по неопытности я запросил всего 50 рублей, тогда как профессиональный настройщик за такую работу взял бы вчетверо дороже. Так что, думаю, разница пойдет в его карман. А качество моей работы интересует его мало, в этом он не разбирается, пианино и раньше вполне его устраивало.

Я знакомлюсь с будущими оркестрантами. Пружиной будущего джаз-оркестра, заводилой, как я уже понял, является Изольда. Она всеми командует, решительно покрикивает, никого не слушает и диктаторски принимает единоличные решения. Голос у неё громкий, резкий, с генеральскими интонациями. Почему-то её все боятся и безропотно подчиняются. Вначале она пытается командовать и мною. Дело в том, что когда я сижу за пианино и стараюсь выяснить уровень музыкального умения будущего «джазиста», Изольда усаживается рядом, нахально перебивает меня, вмешивается и безапелляционно выносит свои суждения. Причем, в категорической, не подлежащей сомнению редакции.

Меня это страшно злит. Тем более, что в музыке Изольда абсолютно невежественна и лишь кое-как бренчит на мандолине, которую упорно называет «банджо» - так красивее. Из-за этого время от времени у нас возникают перепалки, и я грубо прошу её заткнуться. Она обижается. «Я хочу тебе помочь, - говорит она. - Ты слишком мягок». Среди будущих «джазистов» есть скрипачка, скромная, застенчивая, легко бледнеющая или краснеющая пятнами по лицу девушка. Изольду она смертельно боится. Играет она неважно, но старательно. Есть и пианистка, которую в детстве учили играть, и она еще помнит ноты; есть трубач-любитель, который когда-то был в школьном кружке горнистов и умеет прочитать и протрубить с нот простейшую мелодию. И еще есть ударник - это сам Костя, у него простой пионерский барабан на ремешке вокруг шеи. И еще две девочки, которые хотят у нас петь. В общем, не густо. Репертуар мы выбираем сообща. И я принимаюсь делать аранжировки. Мне это не трудно. Я надеюсь, что днями мы начнем репетиции.

А вот репертуар у нас на злобу дня - очень модный, американизированный. Ведь у СССР с Америкой боевая дружба. И в эти дни вечерами на темных улицах Полтавы можно встретить стайки неспешно прогуливающихся **американских,** реже и английских, лётчиков. Их много. Ведь почти ежедневно в небе над городом на разных высотах появляются армады тяжелых четырехмоторных Боингов B-17G - «Летающих крепостей». Иногда прилетает несколько десятков, иногда сто, а иногда и больше. Это т.н. челночная операция союзников под кодовым названием «Фрэнтик». Самолеты подолгу кружат в небе, поочередно заходя на посадку, - на аэродроме всего две взлетно-посадочные полосы. В такие дни тяжело гудит всё небо и тоненько вибрируют, поют, оконные стекла в домах.

А вечерами на пустынных ночных улицах и в темных закоулках парков американцы бойко торгуют. Мини-торжища возникают в разных концах города. В обычном ассортименте сигареты и трубочный табак «Принц Альберт» в металлических коробках, впервые нами увиденные жевательные резинки, отрывные бумажные спички и плитки соленого шоколада в парафинированной бумаге, леденцы в трубочках, роскошные бритвенные лезвия и наборы тончайших розовых презервативов, ароматное мыло, майки и трусы, желтые теплые ботинки и шерстяные носки, пакеты туалетной бумаги, зажигалки, ручные фонарики с батарейками к ним - и

еще многое, чего мы никогда и в глаза не видели. И о существовании чего даже и не подозревали.

Всё это пилоты получают бесплатно, так что торговать им выгодно: шестьдесят рублей им обменивают на один доллар (а это деньги!). Пачка сигарет у них по ночной таксе тридцатка, а у перекупщиков на базаре всё вдвое-втрое дороже. И поэтому ночная оптовая торговля идет очень оживленно.

Но самый большой и популярный ночной рынок - у памятника Славы в Корпусном саду и даже на самом памятнике. В темноте мелькают огоньки фонариков, толпятся сотни люди, слышны английские возгласы, смех, голоса, приятно пахнет медовым дымом американских сигарет и шныряют перекупщики. Переводчиков нет, но всё понятно и без слов.

Американцы почти все рослые и спортивные, они в черных кожаных куртках и лихо заломленных набок пилотках с серой окантовкой, в узких брюках цвета хаки с отлично заглаженной острой стрелкой и в начищенных до блеска желтых ботинках. Парни они простые, приветливые и улыбчивые, их легко отличить от наших по лицам - гладким, ухоженным и всегда хорошо выбритым, у них совсем другое выражение глаз - спокойное, уверенное и, как правило, дружелюбное. От них пахнет хорошим одеколоном и табаком, они легко и весело смеются, дружески, как старого знакомого, похлопывают тебя по плечу или спине и угощают сигаретами или леденцами. А наши парни худые и угрюмые, с серыми лицами и настороженным, всегда озабоченным взглядом. Будто постоянно ждут откуда-то подвоха и в любой момент готовы дать отпор. Заметно, что жизнь их (нас) не баловала…

Среди американцев у нас есть знакомый пилот - он инженер-механик, зовут его Ник, Николай. Он русский, свободно говорит по-русски, почти без акцента.

Мы стояли у входа в кино, ожидая начала сеанса, у нас был лишний билет, а он одиноко стоял в сторонке, философски наблюдая за свалкой у кассы и, поймав наши взгляды, слегка улыбнулся и покачал головой. Мы предложили ему билет, и он охотно пошел с нами. Ник старше всех нас, ему, думаю, уже под тридцать. Обычно он гуляет со своими товарищами - негром Джоном, сероглазым канадцем Фредом и Марком, парнем из Нью-Йорка. Они всегда ходят вчетвером, хотя полный экипаж «Боинга» восемь человек. Обычно мы встречаемся вечерами в Корпусном саду в дни их прилетов - заранее уславливаемся. Обычно это бывает раз в неделю-полторы.

Мы бродим по гулким и пустынным ночным улицам с чернеющими во мгле скелетами сгоревших домов и полуобрушенными арками в пустынные дворы. Нигде ни огонька, ни души, тишина, в темноте под ногами пробегают крысы и где-то далеко воют собаки. Потом мы где-нибудь усаживаемся, курим американские сигареты «Кэмел» или «Честерфилд», болтаем и шутим, они рассказывают о себе (переводит Ник), говорят о своих роскошных «Боингах», которыми очень гордятся, их бомбозапасе и вооружении, о горящих нефтепромыслах Румынии - Плоешти, который регулярно и методично бомбят. Но больше всего их интересует наша довоенная

жизнь, о которой мы им рассказываем и которую понять они не могут. Что такое коммунальная квартира?

Это что, общежитие? Временное жилье? Барак? Или дешевые дома для бедных? Нет? А как вы принимали утренний душ? И что обычно пили по утрам - кофе или соки? Какой сок у вас был более популярным - ананас или манго? А на каких автомобилях вы ездили? Русских или американских? Сколько они у вас стоили? А этот теперешний ваш базар - они смеются, слово им очень нравится: «тол-кутч-ка», так? - она что, была и до войны? А разве супермаркетов у вас не было? А где же вы покупали продукты? И всякие вещи? А какие у вас курили сигареты?.. И т.д. и т.п. Они ничего не понимают, эти славные ребята, в прошлой, да и в нынешней нашей жизни…Мы мнемся, отмалчиваемся, нам неловко. Ясно, что в их глазах мы выглядим непонятными дикарями, вроде обученных грамоте папуасов. Но и их жизнь кажется нам обидной выдумкой, сказочной и непонятной фантазией. Это совсем другой мир, другая жизнь, другая планета. Неужели это правда? Ведь если это так, то, значит, все мы просто жалкие нищие?

А наша великая и богатая, как нам внушали, страна, оказывается, просто задворки цивилизации? Значит, верны рассказы вернувшихся из победоносного похода в Польшу в сентябре в сентябре 1939 года с привезенными оттуда невиданными вещами?… Уже тогда многое было непонятно и как-то даже тревожно - неужели они жили лучше нас? Разве там, в их, как нам внушали, нищей капиталистической Польше не голод, бессудные аресты, кровавый террор и угнетение трудящихся? Как это понять?

А теперь эти пилоты с их удивительными рассказами об Америке, их непонимание нашей - прекрасной довоенной жизни…Они слушают нас, недоуменно переглядываются и вежливо молчат. А в один из вечеров дарят нам роскошную, на тяжелой глянцевой бумаге полугодовую подборку журналов «Америка». Для нас это настоящее открытие. В них много неожиданного, очень интересного, кажущегося фантазией, выдумкой…Но есть ноты и русские тексты песенок американских и британских военных пилотов. Это очень хорошие, веселые и задорные мелодии, легкие, шутливые тексты. Моим новым друзьям из нашего будущего «джаза» они нравятся, и я с удовольствием принимаюсь расписывать партии для наших инструментов. Тексты песенок (привожу по памяти) примерно такие:

Падди пишет самой лучшей девушке своей
«Если писем не получишь, сообщи скорей.
Если в письмах есть ошибки - дело не хитро,
Здесь чернила очень липки, скверное перо».

И припев:

Путь далекий до Типперери
Путь далекий домой
Путь далекий до крошки Мэри
И до Англии родной…

И еще вторая песенка:

Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползем на последнем крыле,
Бак пробит, хвост горит и машина летит
На честном слове и на одном крыле…

И т.д.

Всё это хорошо, мелодии легкие, но репетиции нашего оркестра идут очень туго. Они вообще происходят редко, к тому же долго работать в театральном фойе нам не разрешают, а за час-полтора успеваем мы очень мало. Ребята волнуются, спорят, раздражаются, девушки плачут. Да и играем мы плохо, фальшиво, нестройно. Все нервничают. И очень мешает Изольда. Она кричит и жаждет руководить. И мы ничего не успеваем разучить и хоть как-нибудь сыграться. Ко всему я занят - это мои домашние дела (доставка воды по утрам - как никак, час-полтора, а то и все два) плюс лекции в институте, плюс (пока еще не каждый день) мой огород, ну и ведь еще нужно выполнять курсовые работы. В общем, цейтнот. И бросить этот, так сказать, «джаз» мне не хочется. Какая-никакая, а всё же музыка, и делать даже такие жалкие аранжировки мне доставляет удовольствие. Так что как-то мы играем. Но плохо. И все больше меня раздражает Изольда. Меня она считает своим приобретением и после репетиций одного домой не отпускает, провожает домой и по пути наставляет и дает советы. Возражений она не слушает. Она активная комсомолка и даже комсорг курса. Истинная комиссарша.

Близятся майские праздники, и Изольда всё еще надеется, что мы выступим на институтском вечере. Я же к этой идее, судя по реальным успехам нашего оркестра, отношусь скептически. К тому же в один из этих дней у нас с Изольдой возникает неожиданный и неприятный конфликт. Она знает о моих жилищных условиях у тёток и по пути домой решительно заявляет:

- Значит, так. Я всё обдумала. Ты прямо завтра же переедешь ко мне! Я снимаю у бабки за базаром хорошую комнатку, там не тесно и тепло. Чего тебе мучиться? Будем жить вместе.

От неожиданности я теряю дар речи. Что это значит, я хорошо понимаю. Но меня это никак не устраивает. Никаких чувств к Изольде я не испытываю. Как женщина, она мне не интересна. Да еще с её комиссарскими замашками. И я отказываюсь. Изольда оскорблена. Отказа, как видно, она не ждала.

- Ты подумай, - холодно говорит она после долгой паузы. - Не спеши. Лучшего варианта на будущее тебе не найти.

Я обещаю подумать, хотя уже знаю, что не соглашусь. Ни за что! И мы расстаемся.

А вскоре выясняется, что праздничный концерт нашего «джаз-оркестра» не состоится. В заводском клубе, где предполагалось наше выступление, вообще нет пианино. К тому же уже два дня, как куда-то пропал (видимо, запил?) Костя, наш пионер-ударник.

И на этом мои взаимоотношения с Изольдой и несостоявшимся джаз-оркестром заканчиваются. Для меня это большое облегчение: скоро пойдут зачеты, затем весенняя сессия, да и мой огород уже требует немало времени, а с начала июня начнется полуторамесячная практика на «Металл-заводе» (так его зовут в городе), который почти полностью разрушен и сейчас восстанавливается. Так что освобождению от этой заботы, как и от ига Изольды, я очень рад.

Но вот начинается практика на заводе. Почти все заводские корпуса разрушены, частично сожжены или взорваны, обращены в руины. Кое-где еще идет разборка завалов, там постоянно присутствуют саперы: уже были случаи, когда в кучах битого кирпича обнаруживались невзорвавшиеся мины или бомбы. Вообще же фронт восстановительных работ здесь очень большой, людей не хватает, и поэтому сюда нас направляют целой группой.

Мне достается механосборочный цех, над которым только начат монтаж привезенных откуда-то стальных ферм покрытия. Монтажники и сварщики - молодые сельские парни лишь недавно окончившие краткосрочные курсы. Они не очень грамотны, в городе они вообще впервые и ответственности (и опасности) монтажного дела не понимают. И работают на высоте принципиально без страховочных средств - форсят друг перед другом и перед молодыми работницами. И хотя перед началом каждого рабочего дня замученный пожилой прораб снова и снова строго инструктирует их и заставляет подписывать обязательства о соблюдении наверху правил техники безопасности, они презрительно отводят глаза и усмехаются. «Старик, - говорят они. - Что с него возьмешь. Дрейфит». Им выдают специальные страховочные пояса с зажимами и захватами, но они демонстративно ими не пользуются. И ходят на большой высоте по узким стенам или переброшенным через пустоту стальным балкам без страховки. И иногда при этом еще свистят или громко поют.

Мне тоже приходится подниматься наверх и следить за монтажом, стоя на широком, полутораметровом кирпичном карнизе. Ограждения там нет, и смотреть вниз с 12-метровой высоты страшновато. Но стоять и не смотреть вниз еще труднее. Впрочем, через неделю я привыкаю. Ведь это необходимо. Дело в том, что работают эти наши горе-монтажники спустя рукава - могут умышленно пропустить неудобный для них болт или же вставить его, но не затянуть.

А сварщики могут сварить шов кое-как, на глазок. К чему это может привести, они не понимают. Вернее, понять не в состоянии. Ведь всё держится, не падает - ну и ладно. Ни опыта, ни знаний, ни простой культуры и даже элементарной грамотности у них попросту нет. Так что моя задача хоть как-то следить за тем, чтобы не допускать такой опасной халтуры. Конечно, уследить за всем я не могу, это невозможно. Но даже если я что-то замечаю, говорю им об этом и требую переделать, они иронически хмыкают, иронически переглядываются и обещают переделать - попозже. Но чаще всего ничего не делают. Прораб это знает. Но других монтажников нет, и приходится мириться с теми, кто есть.

Он вздыхает: «Знаю, что кончится плохо. Но что делать?» Проходит две недели. И кончается это, как и предвидел прораб, плохо. Накануне ночью прошел дождь и кое-где металл еще мокро блестит. Перемещаться по нему без страховки очень опасно. И перед обедом один из парней срывается и падает на кучу стальных труб. Скорая помощь забирает его, но живым до больницы уже не довозит. На следующий день все монтажные работы приостановлены. В вагончике прораба сидит мрачный следователь из военной прокуратуры с погонами капитана и вызывает к себе поодиночке рабочих и нас, практикантов. Подписанные погибшим парнем обязательства о соблюдении им правил техники безопасности лежат перед ним на столе. Тут же бледный прораб пишет объяснения.

Опрашивают и нас. И мы тоже пишем свои объяснительные записки. Проходят еще два или три дня и выясняется, что у парня в крови обнаружен алкоголь. Это существенно меняет картину события. Но вина прораба в том, что он не приостановил работы на высоте после вчерашнего дождя.

Вскоре работы возобновляются. Но монтажники напуганы и уже сами стремятся соблюдать все правила безопасности. Они приобрели жизненный опыт. А меня, как и всех нас, студентов-практикантов, почти через день вызывают в прокуратуру и подолгу с нами беседуют. Как видно, им нужен виновный, а мы рассказываем и пишем в объяснительных записках всё, как было: как прораб ежедневно заставлял рабочих соблюдать правила безопасности, как они это умышленно игнорировали и насмехались над «стариком-перестраховщиком» и т.п. Прокуратуру это не устраивает, и следователь давит на нас. «Напишите, что шел дождь, - убеждает он нас. - Ведь металл был еще мокрый, верно?» - «Отчасти. Ведь дождь шел ночью. А к десяти утра, когда упал парень, металл уже высох».

Следователь нашими ответами недоволен. « Опять за рыбу гроши, - говорит он.- Так все таки шел дождь или не шел? » - « Шел». - «Ну вот. Так и напишите». - «Но шел ночью». - «Это неважно. Так как, будете писать?» - «Нет». И т.д. Мы сопротивляемся, нам жаль бедного прораба, который ни в чем не виноват. Даже по правилам техники безопасности вчерашний дождь при страховочных мероприятиях не является поводом для остановки работ на другой день. Похоже, прорабу грозит срок, идет война и действуют безжалостные законы военного времени. Ведь вникать и разбираться некогда, да и некому.

Июнь идет к концу. Сегодня 22-е, ровно три года с начала войны. День как день.

Просыпаюсь я в полночь от оглушительного грохота зениток и тяжелых глухих ударов бомбовых разрывов. Вокруг всё дрожит, содрогается дом, вздрагивает земля. Полуодетый, я выскакиваю на улицу. На часах около часу ночи. Глухая темень, но на улице полно людей, все растерянно смотрят в небо. Ведь фронт уже далеко - и вдруг снова налет, бомбежка? Что это? Я тоже стою на проезжей части улицы и смотрю в безлунное черное небо - всё оно исчерчено тревожно мечущимися, пересекающимися, сходящимися и разбегающимися прозрачно-голубыми раструбами лучей прожекторов.

С высоты несется густой слитный вой множества самолетов, в черной высоте хаотично и непрерывно вспыхивают колючие красно-белые разрывы зенитных снарядов, на миг освещающие клочковатые серые облака, время от времени небо освещается дрожащим фосфорическим светом медленно опускающихся к земле осветительных ракет. Грохот бомбежки доносится, в основном, с запада, со стороны Киевского вокзала. Легко можно догадаться, что бомбят аэродром, на который сегодня днем садились «Летающие крепости». Бомбежка длится уже больше часа. Зенитки всё еще ожесточенно палят, и уже вся западная часть неба до самого зенита в зловещем черно-багровом зареве.

Где-то далеко что-то горит, по небу пробегают дрожащие алые языки отблесков. Оттуда время от времени оттуда доносятся глухие, сотрясающие землю тяжелые взрывы. Возможно, это рвутся бомбы замедленного действия. Или склады боеприпасов. Лишь к рассвету всё стихает и наступает тревожное пасмурное утро. Конечно, этой ночью никто из жителей города не спал, все бледны, обмениваются впечатлениями. Уже к полудню откуда-то становится известно, что в небе над городом ночью висело более ста немецких «Юнкерсов». Несколько было сбито, но ими сожжено 72 «Боинга» и еще погибли люди, в их числе американский генерал и три корреспондента центральных газет «Красная звезда» и «Известия». (Могилы этих корреспондентов с памятными досками после войны долгое время находились в центре Петровского парка. Потом их куда-то перенесли). Зажигалки упали на территории Киевского вокзала и даже нашего завода, на котором мы проходим практику.

Дней через пять я встречаюсь в Корпусном саду с Ником. Он один, настроение у него мрачное, он неразговорчив. Вокруг шумит бойкая торговля, рыщут перекупщики, вспыхивают огоньки сигарет. Мы сидим и молча курим. Я ни о чем его не спрашиваю, но он вдруг говорит сам:

- Тебя, конечно, интересует, как это вышло. Как можно было допустить, чтобы эти проклятые наци нас так отбомбили? Как сопливых новобранцев! А наши аэродромные зенитчики проспали, думали, что немцам всё, каюк, что они ни что уже не способны. - Ник умолкает. - А пока они опомнились, немцы сожгли семьдесят две машины. И всё летное поле забросали сотнями зажигалок… И палаточный городок сожгли. Погибли наши парни. Ты только вдумайся! - летали ребята над Германией, ночью, вслепую, под сплошным огнем зениток… А погибли во сне, на земле.

- Сколько было «Юнкерсов»?

- Сто.

Мы снова долго молчим, и Ник задумчиво говорит:

- Знаешь, ведь я русский. И хотя вырос в Америке, но здесь, в России, что-то мне кажется близким, даже знакомым…Странно, да? Особенно, когда слышу русскую речь. Как видно, во мне что-то осталось, хотя когда мои родители покинули Баку, мне было всего три года. И, знаешь, что еще странно? Ведь я вижу, как у вас всё плохо, бедно, но мне, понимаешь, это совсем не безразлично. Даже наоборот, досадно и

горько. - Он умолкает. - Понимаешь, мы жили в Египте, я помню там нищету, грязь и дикость, но меня это ничуть не трогало. Я воспринимал это, как данность, считал, что это норма, в порядке вещей. А тут всё иначе. - Он затягивается сигаретой. - И знаешь что еще? Будто лица людей здесь иные…в них я нахожу знакомые черты…Странно, да? Как в лицах моих матери и отца…

- Они в Америке?

- Нет, их уже нет. Отец был инженером-нефтяником, в 1918, когда у вас произошла революция, он перебрался в Турцию, а потом устроился на работу в Египет. А в 1925 году мы переехали в Штаты. Мне было десять лет.

…Мы еще сидим, курим и разговариваем. Ник смотрит на часы.

- Ну, друг, всё, - говорит он. - Мне пора. Понимаешь, теперь мы будем летать иначе - на Сицилию. И возвращаться будем не сюда, а в Миргород. Так что увидимся ли - Бог ведает? Пожелай мне удачи, завтра у нас вылет.

Мы обнимаемся и расстаемся. Никогда больше ни с ним, ни с его товарищами я уже не встречусь.

В один из этих дней на улице я встречаю свою школьную учительницу пения в младших классах - Зою Яковлевну. Ей уже много лет. Она пережила оккупацию и по-прежнему живет в своей комнатке на Кабыщанах. Мне она рада, и с этого дня время от времени я прихожу к ней в гости. Небольшая её комнатка в старом одноэтажном домике, длинная и узкая, как пенал, очень неудобная. В дальнем её конце под окном втиснут рояль, круглый стульчик почти весь под клавиатурой и когда я сажусь, локти мои остаются прижатыми к телу, а колени к роялю. Играть очень неудобно, но рояль хороший, с мягким, бархатистым звучанием, играть на нем приятно. И при этом у меня очень хорошая слушательница - сама Зоя Яковлевна, она меня не критикует, а иногда даже похваливает.

Комнатка хоть и тесная, но уютная, на стенах, как это было заведено в незапамятные времена, густо, одна к другой, висят в рамках разных форм старинные фотографии мужчин с серьезными интеллигентными лицами и аккуратными чеховскими бородками на фоне каких-то туманных пейзажей, рядом сидят строгие женщины в светлых платьях и широкополых шляпах с цветами. Всё это - прошлый век и совсем другие, не похожие на нынешние, лица… У Зои Яковлевны я беру книги для чтения - это Бальзак, Вальтер Скотт, Дюма, Чехов. И даже мой любимый, давно уже не читаный Данте.

Но однажды Зоя Яковлевна, таинственно усмехаясь, говорит: «Сейчас я тебе кое-что покажу». Она уходит за ширму, я слышу, как щелкает замочек на дверце шкафа, что-то оттуда достает и через минуту выносит старинную жестяную шкатулку, всю в выпуклых цветных узорах. Зоя Яковлевна торжественно открывает крышку шкатулки и медленно, хитро поглядывая, достает из неё сложенный вчетверо белый листок. Затем так же торжественно и неторопливо протягивает его мне: «Смотри!» - «Что это?»

Она усмехается. «Письмо Петра Ильича Чайковского моему брату, это 1885-й год ». Я с трепетом беру листок. Шуршит и пружинит тугая рисовая бумага. Ничуть не выцветшие черные чернила, крупный косой почерк. Содержание письма меня не интересует, это сейчас не важно, для меня важен сам факт - в моей руке письмо, написанное самим Чайковским! Будто эстафета из прошлого, ведь этот листок держал в руке сам Чайковский, возможно, этим пером он только что записывал свое сочинение…Но это еще всё - вслед за письмом Зоя Яковлевна извлекает из шкатулки фотографию - это очень известный снимок, я его знаю: освещенное лицо Чайковского на черном фоне и в верхнем углу справа косая надпись: «П. Пржегозинскому. Благодарный за внимание. Петр Чайковский, СПб, 1885 ». Зоя Яковлевна видит мое волнение, улыбается, бережно прячет письмо и фото в шкатулку и снова уносит за ширму.

Через несколько лет, приехав в Полтаву, я узнаю, что Зои Яковлевны, увы, уже нет. Все её вещи, рояль и, очевидно, письмо и фото Чайковского увезла в Москву её приемная дочь.

В сентябре в институте начинаются занятия, и одновременно разворачивается огородная страда: пришла пора копать картошку и собирать урожай фасоли. Сухая и теплая погода сейчас очень кстати. В один из этих дней я отправляюсь на свой огород. На соседних огородах уже работают всё знакомые, наши институтские, - копают целыми семьями. Мы с ними здороваемся, перекрикиваемся, шутим, обмениваемся информацией, расхваливаем или критикуем наши урожаи. Земля рыхлая, картошка уродила неплохая, крупная. Но много накопать её нельзя - всю мне не унести. Так что приходится ограничиваться одним мешком килограммов в двадцать, его с несколькими получасовыми передышками донести я смогу. Друзья одалживают мне старую тележку, и раз за разом я на ней везу свой урожай: теперь у меня уже шесть пятипудовых мешков с картошкой и один с фасолью. Это большое подспорье в нашей скудной жизни. А крепатура мышщ ног и рук еще очень долго будет давать о себе знать. И еще долго не сойдут мозоли с моих ладоней.

В один из дней ко мне подходит мой друг Женя Кузьмин - у него предложение. Дело в том, что в институте есть студент Сергей Жоголь. Ему уже прилично за тридцать. Я его как-то видел - немолодой, приземистый мужичок с быстрыми хитрыми глазками. Перед войной Жоголь успел окончить четыре курса, при немцах оставался в Полтаве и, как говорят, жил очень неплохо. А сейчас хочет получить диплом инженера.

Но беда в том, что за эти три года он всё основательно забыл. Сейчас ему нужно сдать довольно сложный и трудоёмкий курсовой проект по стальным конструкциям, притом, срочно. Сам сделать расчеты и вычертить листы он не может. Да и не хочет. И ищет «китайца» - так у нас называют халтурщиков, за деньги выполняющих разные курсовые задания, а то и дипломные проекты. По чьей-то рекомендации Сергей находит Женю, отводит в уголок и осторожно предлагает за вознаграждение сделать

ему этот проект - но только в очень короткий срок. Женя согласен, но сам в этот срок не успеет.

- Давай вместе, - смеясь, говорит он мне. - За это я попросил у Сергея двести пачек американских сигарет. Он согласен. Ты как?

Конечно, согласен и я. Вдвоем за три-четыре вечера мы вполне успеем. Женя договаривается, и мы приступаем. А Сергей в виде аванса сразу выдает нам полсотни пачек дорогих сигарет «Кэмел» с верблюдом на упаковке. По рыночной цене это почти полторы тысячи рублей - деньги немалые.

Где он их берет - нас не касается. Вряд ли покупает. По слухам он спекулянт, успешно занимался этим и при немцах. Но мы торговать сигаретами не собираемся, выкурим их сами, и еще иногда будем дарить по пачке-другой друзьям. В срок сделать проект мы вполне успеваем и передаем его Сергею, а еще через два дня он с нами сполна рассчитывается. Проект он сдал без сучка и задоринки и на радостях приглашает нас с Женей к себе домой на ужин. Живет он за базаром в собственном доме.

Мы уславливаемся: придем втроем - Женя с Валей Мохначевой (это его будущая жена) и я. Дом Сергея находим мы без труда - на фоне неказистых и вросших в землю соседних убогих домиков под латаными толевыми и этернитовыми крышами он выделяется аккуратностью и железной крышей, выкрашенной свежим суриком. В сторону улицы смотрит широкая терраса. Стоит дом в глубине двора, обнесенного аккуратным дощатым забором.

Мы приближаемся к калитке, и тут из-за угла навстречу нам выходит знакомая девочка Нина А., в руке у неё кошёлка. Нас она не видит. Она приближается, я её окликаю, - в недоумении она поднимает глаза, замедляет шаги и улыбается. «Что вы тут делаете? Это же мой район!». Мы поясняем. И я нерешительно говорю: «Нина, пойдем с нами? Женя будут с Валей, а я один».

Она немного колеблется. Потом решается. «Ну ладно, только недолго, меня ждут дома». Мы стучим в калитку. Тут же со двора доносится мощный собачий лай и на крыльце появляется улыбающийся Сергей. Он отгоняет злобно рычащих, рвущихся с привязи и роняющих белую пену, похожих на волков двух здоровенных немецких овчарок, и ведет нас в дом. На террасе нас встречает его жена - в прошлом, как выясняется, тоже наша недоучившаяся студентка.

Сергей вводит нас в дом. И тут мы замираем и теряем дар речи: на уже привычном убогом, полунищенском фоне нашей нынешней жизни здесь настоящая роскошь - сверкает темным лаком полированная трофейная мебель, на стенах и на полах хорошие ковры, висят литографированные немецкие картины в тяжелых позолоченных рамах, на тумбе мигает зеленым глазком немецкая радиола. И самое главное, что я сразу вижу: под окнами, сплошь заставленный хрустальными вазами и какими-то немецкими пастушками, стоит сверкающий черный рояль. Но нас ведут прямо в соседнюю комнату - там уже накрыт стол для ужина. Здесь тоже полированная мебель и - чудеса продолжаются ??? - у стены стоит еще и коричневое

немецкое пианино. Но я ни о чем не спрашиваю - неудобно. Мы сидим у стола, рядом со мною Нина, напротив Женя и Валя, а на столе всевозможные салаты, рыба, мясо, всё в роскошных немецких блюдах, водка в запотевших хрустальных штофах, рядом с каждым из нас изящные тарелочки, хрустальные рюмки и фужеры.

Проходит час. Мы уже крепко выпили и основательно поели и Женя спрашивает у Сергея: «Серега, а ты вообще как, воевал или был в Полтаве?» Сергей мнется. «Да понимаешь, так вышло…» Жена его перебивает, лицо её раскраснелось, глаза пьяно блестят. «А-а, вышло, не вышло… Скажи, как было, тут все свои: в сорок первом попал в окружение, потом в немецкий лагерь, чуть не подох…В общем, выкупили…за немалые денежки, само собою…» - «А дом этот что?» - Сергей неохотно отвечает. «Дом, понимаешь, еще родительский… Да ладно, ребята, давайте-ка выпьем!» Мы охотно соглашаемся. «А рояль?- спрашиваю я. - У вас кто-то играет?» Сергей смеется. «Да ты что! Купил по случаю, недорого. Вот еще и эта пианина, говорят, будто она неплохая, но сильно расстроенная. Я её продам, вот только починить бы». - «А мне поиграть можно?» - «А ты что, умеешь? Попробуй!» Я перехожу в первую комнату и сажусь к роялю. Это старая немецкая фирма. Рояль немного расстроен, но всё равно - к клавишам такого роскошного инструмента я очень давно не прикасался. И играть приятно. И еще рядом со мною сидит Нина и, не отрываясь, смотрит на меня и на мои руки. И я играю - только для неё. Мы говорим, говорим… И вдруг вспоминаем…

…А ведь у нас в институте перед войной был свой джаз-оркестр! Он был полностью любительский, большинство ребят играло только по слуху или по простейшим нотным записям. Из-за этого выучить что-то новое и сложное нам было ох, как не просто, требовало немалого времени. Но постепенно мы освоили несколько новых мелодий.

Наш руководитель Коля Ипполитов сочинял неплохие, хотя и стандартные, подражательные танго и фокстроты, сам расписывал партии для тех нескольких исполнителей, которые умели читать ноты. А прочие наши джазисты разучивали свои партии на-слух. Студентка-пианистка, которая играла в оркестре до меня, охотно и даже с облечением уступила мне место за роялем. (Кстати, в нашем оркестре играл на трубе долговязый худой парень - будущий доктор наук и зав кафедрой института Саша Могилат).

Была у нас и солистка Оксана - красивая девушка со светлыми волосами до плеч, лет двадцати семи, не студентка, а чья-то подруга или жена, у неё был хороший голос, лукавые глаза и великолепная фигура. Когда она в голубом облегающем платье и изящных туфельках на высоких каблуках выходила к рампе, отвести от неё глаза было просто невозможно… А иногда наш джаз играл на институтских студенческих вечерах и однажды даже выступал на сцене нашего городского театра. Концерт мы открывали, сидя за еще опущенным занавесом знаменитым в те дни «Трот - маршем»…

…А сейчас я сижу за роялем, и мы с Ниной всё это вспоминаем…

Уже 1944-й год, и мы в доме Сергея Жоголя. А он страшно удивлен. «Смотрика, а ты и вправду умеешь! - говорит он мне. - Я думал, ты сыграешь одним пальцем чижик-пыжик, а ты, гляди, как здорово шпаришь! Ёлки зеленые, да ты же можешь играть в ресторане! На кой черт тебе этот диплом?! Вот там у тебя будут настоящие денежки!». Вдруг мне в голову приходит мысль. «Сергей, а давай я настрою тебе пианино. Хочешь?» - «А ты что, и это умеешь?» - «Умею». - « А возьмешь дорого?» Я смеюсь. «Сотню, - говорю я. - Если тебе не жалко». - «Сотню?! Да я тебе дам две, только сделай хорошо! У меня и покупатель на неё уже есть, только прежде нужно починить. Так как, договорились? » - «Договорились».

Это будет моим вторым успешным опытом настройки, за который я получу две сотни. Позже, по рекомендации того же Сергея, у меня будут еще два заказчика, каждый по сотне. Но на этом моя деятельность в Полтаве в роли настройщика пианино закончится.

Незаметно приходит весна. Яркое солнце, конец марта, бурно тает снег, ручьи на улицах. Настроение уже весеннее и… тревожное. Что впереди?

Это уже последний год войны, и во всем явственно ощущается близость победы. Красная армия добивает немцев в Германии, под самим Берлином. Ежедневно, по два-три раза за вечер передают сообщения «В последний час!» и из Москвы радио доносит гром победных артиллерийских салютов из двухсот, трехсот и даже пятисот орудий.

Но вот уже май, первые числа. В эти дни радио в домах почти не выключается - все с нетерпением ждут сообщений. Впрочем, радуются не все. Есть такие, кто боится, кто сотрудничал с немцами и теперь живет в ожидании расплаты. Некоторых мы знаем. Кое-кто из них успел удрать вслед за немцами, другим не удалось. Ведь немцы и сами едва унесли ноги, в те дни им было не до этих людей.

…Угрюмо, ссутулившись и подняв ворот плаща, не глядя по сторонам торопливо пробегает по улице невысокий мужчина лет сорока - это Сорока, некогда фельдшер городской больницы. Тогда он был старательным малозаметным сотрудником на полставки, вел лабораторные занятия. А при немцах стал каким-то деятелем в городской управе. Люди поговаривают, что он старался, активно помогал находить евреев и выявлять коммунистов.

Известно, что его уже несколько раз вызывали в прокуратуру, но пока что он на свободе. Вряд ли радуется возвращению наших бывшая наша соседка по дому красавица Баденко. В годы оккупации (муж её и сын, мой товарищ Юра уже были на фронте) ей жилось очень хорошо. В те дни она сошлась с немецким офицером и открыто, никого не стесняясь, жила с ним. Вечерами и по утрам у подъезда всегда стояла черный «Оппель», бегал денщик. Впрочем, Баденко никого не выдавала и ни в чем плохом не замешана, никто её не обвиняют, но… Сам факт сожительства с немецким офицером!

Однажды я вижу её в магазине - она похудела и плохо одета, но лицо и большие зеленые глаза по-прежнему очень хороши. Меня она, конечно, не помнит. А вот я помню её очень хорошо! В те далекие довоенные времена, когда нам, мальчишкам

нашего двора было лет по пятнадцать-шестнадцать, мы в дни стирки (знали об этом от Юрки) с нетерпением ждали появления её во дворе. Тогда ей было лет тридцать с небольшим. Она выходила развешивать белье - сытая, ленивая, похожая на раскормленную кошку, с будто всегда чуть-чуть заспанными зелеными глазами и рассыпанными по плечам волнами сверкающих золотых волос, в легком распахивающемся халатике. Мы замирали, когда, приподнявшись на носки и ничуть не заботясь о том, как это выглядит со стороны, она позволяла нам рассматривать её красивые длинные ноги, бедра и крохотные розовые трусики…

…Но всё это уже не главное. Главное то, что войне конец, и всё ждут, ждут победного сообщения о капитуляции Германии.

Так приходит 8-е мая.

И в два часа ночи - это уже наступившее 9-е, мы просыпаемся от невероятного шума на улице - какой-то пальбы и выкриков множества голосов, грохота, криков, радостных воплей, топота многих ног, громкого пения. В темных окнах мелькают красные отблески факелов, с шипением и треском взлетают синие и цветные ракеты, слышен треск беспорядочных автоматных очередей, пение и смех, на улице видны танцующие фигуры. Мы поспешно включаем радио - гремят марши, марши, снова марш за маршем, и после короткой паузы громоподобный бас Левитана торжествующе повторяет и повторяет сообщение о полной и безоговорочной капитуляции Германии.

Это тот миг, о котором мечтали, в который временами просто не верилось…

Я выбегаю на улицу. Всюду полно людей, мчатся машины с включенными фарами, выстрелы, небо прочерчено пунктирами многоцветных трассирующих пуль. Кто-то смеется, кто-то обнимает первого встречного, кто-то навзрыд рыдает…

Наступает утро 10-го мая - первое послевоенное утро. На душе легко и в то же время тревожно - что впереди?..

Лето 45-го жаркое и душное, часто гремят ночные грозы, по утрам всюду большие светлые лужи. Но город мертв. Среди ожившей молодой и праздничной зелени деревьев прячутся черные, в языках копоти безглазые коробки сгоревших домов. На грудах битого кирпича нагло и бесстрашно цветет буйный бурьян ростом с человека, даже на тротуары выползли густые заросли крапивы, среди них разрослись похожие на слоновьи уши толстые гигантские лопухи.

Выгоревшие кирпичные остовы зданий тянутся один за другим по обеим сторонам улиц городского центра - Октябрьской, Пушкинской, Ленина… Чернеют пустыми глазницами стоящие вокруг Корпусного сада закопченные, без крыш, с обрушенными перекрытиями и карнизами когда-то белые и нарядные ампирные здания с колоннами. Без крыши и окон печально смотрит пустое здание Краеведческого музея, сожжены почти все дома на Комсомольской, Шевченковской, вокруг Березового скверика…

Город-призрак. Пустота. Жизнь города сосредоточилась лишь у базара (с раннего утра и до ночи) и на обоих вокзалах, вечерами шумит толпа у кинотеатра, еще кое-где на улицах…

Но поближе к сумеркам и ночью город вымирает. Света нигде нет, сгущается непроглядный мрак, в котором обреченно чернеют безглазые руины домов. Всё погружено в наполненное тревогой и неясной опасностью глухое безмолвие кладбища, в котором иной раз раздаются непонятные трески и звуки, пробегают странные тревожные шорохи, гулко отдаются эхом сухие звуки шагов редкого прохожего. Кажется, будто кто-то тут есть, он крадется за прохожим или просто бродит по мертвым улицам, что-то ищет, шепчется в тоске с тенями исчезнувшей жизни…Прохожий опасливо пробегает по проезжей части улицы - под стенами пустых коробок ходить опасно, может свалиться камень или пробежать крыса, могут напасть сбившиеся в стаи одичавшие собаки…К тому же в городе по ночам орудуют грабители, они раздевают, а иногда даже убивают, и по утрам люди шепотом передают друг другу жуткие слухи о безжалостной банде со зловещим названием «Черная кошка»…

Американцы город уже покинули. Темно и пусто на еще недавно шумном торжище в Корпусном саду, нет ставшего уже почти привычным ежедневного многочасового гула висящих в небе сотен «Летающих крепостей», нет бродящих по черному ночному городу веселых, громко смеющихся и всегда приветливых американских пилотов…

Уезжая, американцы прямо на летном поле по чьему-то приказу сложили в многометровые пирамиды всё имущество своего лагеря - сборные домики и палатки, одноразовые пакеты с постельным бельем, легкую сборную мебель, надувные матрацы и подушки, горы рулонов туалетной бумаги и много еще чего-то, обнесли колючей проволокой, облили бензином и на глазах сбежавшихся жителей окрестных сел, не слушая просьб хоть что-то отдать им, подожгли. Запах гари в эти дни ветер доносит даже до города.

В июне я защищаю дипломный проект, а двадцать второго заседает комиссия из Киева и распределяет выпускников - выдает направления на работу. У меня диплом с отличием, я имею право на выбор, но только в пределах Украины. Можно и в другие города – только кроме самой Полтавы! Для инженеров-строителей, несмотря на почти полностью разрушенный город и предстоящий в самом скором будущем огромный фронт работ, работы здесь нет. Очередной абсурд нашей жизни…

И я выбираю Киев: это Наркомзем (теперь Минсельхоз), проектная контора «Укрсельхозстройпроект». Быть на месте мне 1-го сентября 1945 года.

Впереди новая жизнь - с другими людьми, с другими радостями, другими тревогами и печалями. Будет в ней всё, но совсем не так, как мыслилось. И это будет вечным моим сожалением и укором…Кому? Судьбе? Или самому себе? Или всё и должно было быть так, как случилось? И именно это было записано для меня в Его книге? Кто сможет ответить на этот вопрос?

Никто ни в чем не виноват: просто досталось мне, как и всему моему поколению, такое время, суровое, безжалостное и безвариантное.

Ведь точно сказано поэтом: « времена не выбирают, в них живут и умирают».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Проходит всё. Прошли, исчезли, растворились в потоке дней люди, их лица и голоса, события и годы, о которых я написал. Уже почти никого нет на свете из тех, о ком я вспомнил. Помутневшее зеркало памяти скрадывает и смягчает истину, скрывает в зазеркалье радостные и горестные дни, идеализирует людей, их характеры и поступки, невольно искажает подлинную ретроспективу времени и событий.

Я перечитываю написанное: как будто всё верно, записал я лишь то, что и как мне запомнилось. И всё же…что-то не то. Что же?

…Вчитываюсь - и начинаю понимать. Ведь главный персонаж этих воспоминаний совсем не я, - не я сегодняшний, написавший эти строки. Просто мне много известно о моем герое, о его мыслях и надеждах, о его семье, о людях и событиях его детства и юности, обо всем, что наполнило эти строки.

Но героя этих воспоминаний уже нет. Ушли те годы и нанизанные на них события, время унесло и его, и людей, его окружавших, и всю жизнь, кажущуюся сегодня странной, непонятной и неправдоподобной.

Ничего от того времени не осталось - ничего, кроме неверной человеческой памяти.

Но безжалостное время поглотит и эту память.

Розенфельд Илья Александрович

2010